

1989 № 11 (35)  
НОЯБРЬ

# РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,



# РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС  
(главный редактор)  
ЯНИС АБОЛТИНЬШ  
ВИЛНИС БИРИНЬШ  
(ответственный секретарь)  
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС  
ГУНТАРС ГОДИНЬШ  
(редактор отдела)  
МАРИС ГРИНБЛАТС  
ЭДВИНС ИНКЕНС  
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ  
(заместитель главного редактора)  
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ  
ПЕТЕРИС КРИЛОВС  
ЮРИС КРОНБЕРГС  
АНДРЕЙ ЛЕВКИН  
(редактор отдела)  
ЯНИС ПЕТЕРС  
БАЙБА СТАШАНЕ  
АДОЛЬФ ШАПИРО  
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС  
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

## РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЩОВА  
РУДИТЕ КАЛПИНЯ  
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА  
НОРМУНДС НАУМАНИС  
ЭВА РУБЕНЕ

## КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

## КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

## КОРРЕКТОР

ЛИДИЯ БИРЮКОВА

## ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР НОМЕРА

НОРМУНДС НАУМАНИС

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

Сдано в набор 8.09.89. Подписано в печать 19.10.89. ЯТ 00168. Формат 60×90/8. Офсетная бумага № 1, 2. Офсетная печать. 10+0,5 усл. печ. л., 21,5 уч. л. отт., 14,5 уч.-изд. л. Тираж 147 000 (на латышском языке 101 000, на русском языке 46 000). Номер заказа 1622. Цена 50 коп. АДРЕС РЕДАКЦИИ: 226081, РИГА, БАЛАСТА ДАМБИС, 3. АБОНЕНТНЫЙ ЯЩИК 35. ТЕЛЕФОНЫ: гл. редактора 224166; зам. гл. редактора 224100; отв. секретарь, техн. редактор 225654; редактор отделов прозы, поэзии, культуры, публицистики 229743; консультант прозы и поэзии 227208; художник 210030. Отпечатано в типографии Издательства ЦК КП Латвии, 226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

## ЛИТЕРАТУРА

- Айварс Тарвидс. «Нарушитель границы» (1)  
Петерис Зирнитис. Стихи (8)  
Исаак Башевис-Зингер. «Маленькие сапожники» (10)  
Виктор Кучерявкин. Стихи (18)  
Юрий Одарченко. Стихи (20)  
Владимир Сорокин. «Открытие сезона» (23)  
«Одно стихотворение» (30)

## КУЛЬТУРА

- Сергей Дауговиш. «О времени в фотографии» (32)  
Георгий Кизевальтер. «Существуют ли «Коллективные действия»?» (36)  
Ансис Зунде. «Чем осознается «наша» жизнь?» (40)  
Мераб Мамардашвили. «Если осмелиться быть . . . » (45)  
Петерис Банковскис. «Чем больше меня бранят советские учреждения . . . » (50)

## ПУБЛИЦИСТИКА

- «Латвия» — магическое слово» (53)  
Карина Мусаэлян. «Жаркий август 68-го» (61)  
Интервью с Дмитрием Волчком (64)  
Петр Вайль, Александр Генис. «Сказки о Германии» (66)

## ЛИТЕРАТУРА

- Владимир Тепляков. Стихи (72)  
Татьяна Москвина. Стихи (73)  
Дора Цервидзон, Лев Брайман. «Мазурка» Шопена» (74)  
Дмитрий Волчек. «Загадочный господин Агеев» (76)  
М. Агеев. «Роман с кокаином» (78)

БРАКОВАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ПРОСИМ ОТСЫЛАТЬ В ТИПОГРАФИЮ (АДРЕС см. НИЖЕ). РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛЫ НЕ ВЫСЫЛАЕТ.

# АЙВАРС ТАРВИДС

## НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ

РОМАН

Магнитофонная катушка перемотала свои пятьсот метров и крутилась вхолостую, жужжали микрофоны, и потрескивал свободный конец ленты. Тихо выругавшись, Арнольд поднялся, вылез из постели и стал в потемках нащупывать аппарат. Месяц, этот вечный ночной премьер, величаво выплыл из кулис облаков. Круглый и красивый, как в книжке с картинками. Звучала «Dark side of the moon». Арнольд смотрел на далекое светило и вспоминал слова: «*Маленький шаг человека, громадный прыжок человечества*», сказанные пять лет назад там, на расстоянии многих тысяч километров, на верном спутнике Земли. Еще он вспомнил, как лежал в больнице после операции аппендицита, хлебал на обед жиденький бульон, а сестрички ходили с заплаканными лицами, повторяли «горе, горе-то какое» и жалели трех только что погибших советских космонавтов. Арнольд в кровати читал «Трех мушкетеров», и мучительное чувство голода помогло скрыть радость под грустной миной, он на самом деле радовался, чего отпираться, как мальчишка радовался беде, так же, как в те редкие дни, когда на хоккейных чемпионатах шведам или чехам удавалось побить русских и телекомментаторы мычали так грустно, что казалось, газеты наверняка выйдут в траурных рамках.

Арнольд лег в кровать, и пламя спички на мгновение осветило его ладони. Выпуская дым, Арнольд тихо произнес:

— Мало что остается... Может быть, такие мгновения. Их хочется удержать, растянуть. До смешного короткие минуты, наш основной капитал, а все остальное побыстрее бы зарыть в землю, как падаль...

— Ты много говоришь.

— Это от страха.

— От страха?

— Пока я голый стоял у окна и глазел на луну, на меня напал панический страх смерти. С тобой такого не бывает, вдруг неожиданно задумываешься: придет и мой черед, придет? Жизнь окажется короткой, как удар гильотины, покатишься в темноту, а представление будет продолжаться уже без тебя.

— Хочешь быть врачом, а боишься...

— Да это что-то другое... Вчера я в анатомичке препарировал руку молодого сильного мужчины. Нюхал формалин, освобождал каждое мышечное волокно и думал, кем же был этот татуированный человек, почему его здесь кромсают на части, а не оплакивают на кладбище.

— Странный ты. Умереть ведь значит освободиться.

— Может быть, — ответил Арнольд, протягивая далеко

в темень руку с тлеющей сигаретой, — но у меня дрожат пальцы. Не хочется с этим мириться!.. Красивые слова — вечная память, вечная слава, моя честь — его честь, всегда среди нас... Чепуха! Шарик, на котором мы копошимся, обречен.

В темной комнате звучала музыка, раздавался смех женщины.

— Смейся, смейся! Все верно. Три правила без исключений. И судьба у всех общая. Музыка Бетховена, романы Толстого и сифилис Мопассана очень легко соизмеряются с моим собачьим страхом. Даже войны не надо, чтобы когда-нибудь свет освещал пустоту, маленькие шарики продолжали кружить вокруг больших и некому было бы признавать гениальность Ньютона или Эйнштейна, верность и планетарный масштаб учений великих мыслителей. Катаклизм, и эти шарики рассыпятся, как на бильярдном столе.

— Ты просто находка для какого-нибудь баптистского проповедника.

— Чепуха! Я раз сходил на исповедь, сказал, святой отец, спаси, совесть замучила, я в парке задушил тринадцатилетнюю девочку, изнасиловал ее и закопал в куче листьев.

— Выдумал?

— Конечно.

— Выдумывать всегда легче.

— Эту радость даже государство отнять не может.

— Арнольд, что будет дальше?

— Дальше?

— Да.

— Не знаю. Все будет хорошо.

— Ты думаешь?

— Я уверен. Я уже проболтался, как ужасно боюсь деревянного лимузина. Значит, жизнь одна-единственная, запасной парашют не предусмотрен... Маленький сперматозоид победил в своем единственном соревновании, обошел конкурентов, и появилась моя комбинация генов. Совсем немного, и могла получиться коротконогая девочка или... Вообще-то я — убежденный марксист.

— Что?

— Этот матрасик опирается на тома «Капитала», вдобавок я хочу, чтобы меня сожгли, как товарища Энгельса, а пепел утопили в море.

— Послушай, а если я забеременею?

— Сколько тебе лет, детка?.. Я тебе поверяю свои сокровенные мысли, а ты только о том думаешь, что через три месяца придется блевать по утрам.

— Брось-ка сигарету!

(Продолжение. Нач. в № 8, 1989)

Они закурили. Угольки горели в ночи. За окном собралась плотная завеса облаков, ветер, казалось, притих, и шум дождя сливался с соло на гитаре.

— Я тебя люблю, — сказал он, надо полагать, в тот момент, когда магнитофон притих при смене песен.

— Это хорошо, — наверно, ответила женщина.

— Осень не вечна. Засветит солнце. *«Зеленые волны, синяя вода и желтая подложка...»*

— Ой, глупый мальчишка...

... глупый мальчишка, думал Арнольд, поднимая веки и чувствуя ядовитый синий свет в глазах. Как давно это было, круглая луна за окном, дешевый магнитофон на полке, гитара на стене, сидящие в торге музыканты на плакате, анатомический атлас, дешевые сигареты и слова о глупом мальчишке с длинными черными ресницами, как у девочки. Дешевенький лифчик, нежная кожа, близость на подпираемом Марксом матрасе, обреченные на забвение обещания, боязнь триппера и страх смерти, опухшие губы, надежды и многое, многое другое, столь же смешное, сколь слашавое, свидетельство той истины, что каждый когда-то был глупым мальчишкой, жаждущим затащить девочку в постель, или девочкой, которой так хочется народить розового, сморщенного крикуна... И лежат они в операционном зале, живот, как глобус, а пупок — центр земли, ориентированный на большую лампу на потолке. Акушерки и сестры устают от стерильного воздуха, работа у них тяжелая и руки крепкие, как щипцы, которые иногда приходится накладывать на головку застрявшего младенца. А роженицы лишь стонут да стонут, катятся бусинки пота по шее, из спешихся губ вырываются стоны и вздохи. Все хотят разродиться под наркозом, некоторые шепчут *«мама, мамочка»*, другие ноют *«знала бы, не давала»*, другие же орут громко-громко *«штов у него яйца отсохли»*, а караул будущих отцов слоняется вдоль больничных окон, в сетках апельсины, изо рта несет алкоголь. Отцы жаждут сыновей, а женщины взахлеб кричат. Ох эти визжащие женские крики, полные ненависти, разврата и хмеля, когда в ушах...

... в ушах звучало: *«Не трожьте беременную женщину, милтоны проклятые!»*. За окном кричала Света из соседней квартиры. Она уже вторую неделю была в положении и в состоянии тяжелого опьянения. Блюстители порядка вели бабу через улицу к патрульной машине, полуголая Света грязно ругалась и пыталась выцарапать деспотам глаза. Ее кавалеры тоже шествовали к *«воронку»*, один хотел сопротивляться, замахнулся кулаками, но ментально опустился на мостовую, получив на закуску несколько пинков в пах. Седого отца Светы, ветерана войны Шуру Лайзана патруль не трогал. Какой толк сажать на пятнадцать суток инвалида, все равно трамвайные пути чинить не будет. И милицию совершенно не волновало, что левую ногу ниже колена старик потерял, не охраняя *«Дорогу жизни»*, а плутая по пьянке под платформами с песком на товарной станции. Шура, сверкая засаленными орденскими планками, угрожая болтунам костылями и Сталиным, лез без очереди в винные магазины, любил кормить кошек и рассказывать об освобождении латышей, он нагонял страх на всех жильцов дома, потому что вечно загаживал места общего пользования, а однажды, отметив *День Победы*, пытался разжечь в комнате нечто похожее на пионерский костер. Милиционер захлопнул дверцу, и *«воронку»* исчез в ночи. Спектакль окончился, и Арнольд опустил шторы.

— Стрелять их всех надо, — сказала хозяйка, — пьяницы проклятые.

Вода в закипающем чайнике потемнела, еще миг, и клубы пара поплывут по холодной кухне, в углу которой квартирная хозяйка кормила свою суку-боксеру похлебкой из говяжьего вымени.

— Правда, красивая псина? — спросила она в очередной раз, поглаживая дряблое брюхо животного.

— Красивая, — выдавил сквозь зубы Арнольд.

Вода упрямо не закипала, сука чавкала у эмалированной миски, а Арнольду пришлось выслушивать жалобы на

интриги в трамвайном депо. Эти монологи казались ему добавкой к квартирной плате, ежедневно собираемой с него Лаздиньшей. Хозяйка много лет работала вагоновожатой, была грубой старухой, звавшей телевизионных дикторов начесанными курвами, любила подслушивать под дверь, воровала в гастрономе шоколадные сырки, гордилась медалями собачьих выставок, у которой, если верить соседским сплетням, был врожденный сифилис, из-за чего ее девчонки в сиротском приюте в детстве стерилизовали. Правда, из хвороб вслух Лаздинь кундзе обсуждала только боли в суставах и регулярно требовала у Арнольда достать лекарства, лучше всего индометацин. Еще хозяйка любила порассуждать о братиках и сестричках, которые, возможно, живут по всему свету. Надо бы разыскать, как-никак родная кровь, кто знает, может быть, кто-нибудь в начальники выбился, помог бы ей, честному трудящемуся человеку, получить новую квартиру со всеми удобствами. У самой детство было трудное, о ваннах даже и не мечтали, родители бросили ее младенцем в подъезде, пришлось жить среди чужих людей, гнуть спину на господ и голодать. Иногда Лаздиньша предлагала Арнольду послушать записанный на магнитолау голос Яниса. Муж отпавился на тот свет еще до того, как Арнольд стал здесь снимать комнату. Как выяснилось, покойный побывал в Сибири за шуцмановские проделки, последние годы жизни работал в рыбном порту и через день таскал домой мороженое рыбное филе. Что еще простому человеку надо, причитала вдова, вспоминая ушедшие бесплатные обеды, и жаловалась, что нет детей, придется идти в богадельню, если не помрет.

А комнату она сдавала большую, с низкими потолками, натопить ее было трудно. За окнами тянулся старый запущенный фруктовый сад, виднелись домишки и сарайчики предместья, развешенное на просушку белье и каркасы теплиц. Двор был царством *Теса*. Сука казалась такой же чокнутой, как ее хозяйка, в перерывах между заработками денег, когда природа не позволяла наполнить живот полдюжиной породистых щенков, *Теса* часами надоедливо лаяла в саду на воробьев, гадила прямо под окнами и раскапывала соседские грядки клубники. К тому же сука была из несправимых грызунов, довольно часто Арнольд испытывал маленькую радость, слушая, как в запертой комнате *Теса* точит клыки о ножки стола в то время, пока ее хозяйка гоняет трамвай по одиннадцатому маршруту.

Пока Лаздиньша рассказывала о подстроенных дворничихой и почтальоншей пакостях, вода вскипела. Арнольд отнес дымящийся чайник в комнату. Ивета валялась в кровати и листала журнал. Арнольд размешал в чашках растворимый кофе и достал с полки пузырек со спиртом.

— Кофе и спиртик, что еще человеку надо... — проговорил он и плотно закупорил посудину.

— Единственный навар от твоей работы, — Ивета перевернула страницу.

— Как работаю, так и живу...

— Знаешь, надоело.

— Ну конечно.

— Именно так!

— А я сегодня страшный сон видел...

— Я, я! Только это от тебя и слышишь.

— Себя надо любить. Желательно, горячо. Кто же еще за меня это сделает?

— Живи, живи, питайся свежим воздухом и любовью.

— Я еще осыплю тебя жемчугами.

— Только до этого меня еще раньше засыпят землей.

— Может быть, завербоваться на работу в Афганистан? Заработаю валюту, слышишь, валюту. В горах там полно каракулевых овец и бирюзы.

— Не страшно?

— Меня в этом форштадте скорее пришьют.

Ивета глотала кофе и изучала журнал мод.

— Что будем в воскресенье делать? — допытывался Арнольд. — Может быть, пообедаем в Лондоне?

— Напиши лучше диссертацию.



— За субботу и воскресенье?  
 — У тебя умная голова.  
 — Каждый дурак уже давно написал диссертацию.  
 — Да.  
 — А мне противно. Противно! Ну и грязная профессия! Только-то и всего, что халат белый. У нас один чангалец работает, Алоиз, тоже надеется сочинить диссертацию. Заведующему портфель носит, данные собирает, ишачит, шефу, естественно, коньяк поставляет. А настоящим латышам это не по нраву, знают, насколько латгальцы темны...  
 — Ты где живешь, Арнольд?  
 — В развитом социализме.  
 — В облаках. Ты витаешь в облаках.  
 — Ну, еще бы! Искать протекцию, чтобы влезть в партию. Государство, где родиться, нам не дано выбирать. Но добровольно вступать в организацию, у начальника которой больше побрякушек, чем у суки Лаздиньши медалей на параде собачьей выставки... Нет уж! Я лучше буду анекдоты рассказывать. *Леня, а брови?!*  
 — Ты не умеешь рассказывать анекдоты.  
 — Не умею. Самый лучший анекдот — беспартийный товарищ защищает диссертацию. О несокрушимом единстве блока говорят за месяц до выборов. Ладно, история, философия — науки, где, так сказать, важна позиция, правильная сторона баррикады, желтый билет, а тут... Иранский шах погиб от рака, вот вам и весь классовый подход. Нет, я не стану чествой и совестью эпохи.  
 — Ой, как хочется быть честненьким!  
 — Смейся, смейся. Но это, ей-богу, очень приятно. Когда я работал в деревне...  
 — Устный вариант мемуаров?  
 — Единственный хирург в больничке на двадцать коек. В медицине прогресс чеховских времен. Глубоко в Латгалии до города несколько часов по грязи большака, заросшие кустарником поля, по воскресеньям церковь полна народу. А парень лишь режет себе аппендициты да лечит по-

павшие в дисковую пилу руки. Верно, роды еще не принимал, аборт делал. Чаше всего несовершеннолетним католичкам. Необходимость искупления греха делает терпеливыми на удивление. И кому нужен зачатый после танцев ублюдок... Еще был мальчишка, он задыхался — пуговицу проглотил. Потом в мою честь поминки устраивали. Свинячьи. С деревенским пивом и самогоном. Венцом карьеры были желчные камни. Сам ксендз мучился. А вот рижский докторишка вылечил. Молочко мне носили ведрами, яички прямо из-под курицы, бычьи языки, студень. Дети на улице здоровались...

— Ну и оставался бы в своей Зилупе, раз там так хорошо!

— Я бумажку о распределении подписал, чтобы проще было избавиться от родственников и стать самому себе хозяином. Научиться принимать решение и делать выбор. Но нельзя же всю жизнь вырезать геморроиды колхозным бухгалтерам...

— И сельский парень отправился завоевывать столицу...

— Шоколада не хочешь? Швейцарский.

— Лучше часики золотые. Швейцарские.

Арнольду ничего другого не оставалось, как пожать плечами, ободрать фольгу плитки «Tobler», отломить кусочек молочного шоколада и приступить к остывшему кофе. В печке клокотал огонь, пламя рвалось в трубу, в топке громко потрескивали дрова. Арнольд ловко-ловко открывал раскаленную чугунную дверцу и, переворачивая кочергой горящие поленья, наблюдал за разлетающимися искрами. Дрова были плохие, трухлявая осина и сосна, поэтому он забросил в печь следующую порцию топлива. Все равно стенка печи была еле теплой, вся одежда пропиталась влагой. Зима в тот год обещала быть суровой и долгой.

— Как бы дымоход не загорелся, — сказал Арнольд, захлопывая дверцу.

— Наше богатство пропадет.

— Послушай, Ивета, надоело. Сколько можно ныть.  
— Ты у нас — герой. Готов всю жизнь в чужом доме угол снимать да бегать в сухую уборную.

— Ты ведь знаешь, сколько . . .

— Да, да, да . . . Знаю, сколько стоит квартира, знаю, какая дороговизна, чего только еще я не знаю . . .

— Я руками зарабатываю, руками! А достигнуть достатка — это не ручная работа!

— Не ори.

— Я уже и ору. Наверное, следовало бы и руки распустить?

— Над кем смеешься? Сам над собой?

— Над собой, над собой. Баланс жизни — краденый спирт и на закуску полученная в качестве взятки шоколадка.

— Как тебя скромность украшает.

— Арнольд понял. От скромности к благосостоянию шагом марш!

— Маршируй, маршируй. Только я больше уже не буду молодой. Только и всего.

— Давай лучше телевизор посмотрим. Вдруг Леониду Ильичу еще орден дадут.

— Лучшее налейся. Спирта много. Через час ты себе покажешься значительным и могущественным. Крепкий . . .  
. . . крепкий. Ох, каким крепким был последний глоток напитка! Арнольд чуть было не поперхнулся, сел и долго кашлял, вытер слезы. Как-никак последний, самый последний купленный на родине армянский коньяк. Последыш в дюжине, за которой воровато пробирался с черного хода магазина . . .

. . . с черного хода магазина и по длинному, воняющему вином и пивом коридору. Полумрак торговых катакомб, дегенерат грузчик, ящики бутылок на складе, капканы на крыс, провода сигнализации, огнетушитель, конторский стол с кипой накладных. Стенка оклеена этикетками напитков, коллекция, похоже, собиралась совместными усилиями за все время советской власти. А Лариса курит, и фильтр сигареты окрашивается в красный цвет. Он отсчитывает деньги и говорит: *«Присяду на дорожку»*. Лариса, как всегда, хочет поговорить с *мужчиной-красавцем*, показать шарм и интеллигентность — качества, которых ей малость не хватает. Зато с избытком умения давать мужикам прямо на сахарных мешках, громкий голос и грубость, от которой даже хмельные детины, давнящиеся вдоль магазинного прилавка, втягивают голову в плечи и в страхе приседают. Так вот, они курят и поносят правительству. Лариса не испытывает никакого почтения, любой начальник для нее *сволочь*, в конце концов, это из-за этих свиной человек и клюкнучь не может, и без кофе остается, и в получку копейки получает. Кругом бардак, теперь только и жди повышения цен или денежной реформы. Наконец, наговорившись внаглую, они встают, Лариса засовывает деньги в карман и вытаскивает из тайника бутылки. Сам тайник тщательно замаскирован, совсем как в типографии нелегальной *«Цини»*. Арнольд прячет посуду в сумку и прощается. *Куда поедешь? . . . Далеко, далеко. На юга? Возможно. Но бархатный сезон ведь кончился! . . . Да нет, он усмехается, на загнивающий Запад . . . Какая там командировка, на постоянное жительство . . .* Лариса краснеет под цвет своей помады, прищуривает глаза и выплевывает: *«Ну и катись, жопа, раз тебе здесь плохо!»*

И Арнольд пошел по коридору, открыл служебные двери, пересек захлапленный тарными ящиками двор и смешался с толпой людей на улице. С каждым шагом в ушах отдавалось бульканье бутылок, напутствия Ларисы. Ну, шлюха, подумал он еще. Хотя, родись баба лет на тридцать раньше, не спала бы с прошельгами из витебской зондеркоманды, а разбрасывала бы листовки, была связной или радисткой, стреляла бы, взрывала и умирала по заданию Родины и Сталина.

. . . А процедура развода прошла без задоринки и без упоминания священной Родины. Вместо роскошной коробки конфет бывшая большой редкостью стеклянная

*«утка»*, чрезвычайно необходимая редкость для большого отца заведующей загсом. Небольшая услуга — и литровую молочную бутылку можно сдавать на тару, а длинная очередь распавшихся семей у дверей кабинета успешно обойдена. Правда, протестующим пришлось проворчать, что стояла еще вчера, но у делопроизводительницы кончилось приемное время, и им было велено сегодня быть первыми, ровно в десять ноль-ноль, чтобы проставить штамп в паспорте. Осложнения вызвал налог, гуманная система налоговых зарплат зарабатывала денежки на школы, детские сады и обороноспособность даже на людском горе.

Расстались они у парадного крыльца загса. Распускались каштаны, на ступеньках фотографировалась смеющаяся свадьба, невеста была в пышной фате и с пышным животом, не было недостатка в цветах и золоте.

Арнольд закурил сигарету, хотел казаться веселым.

— Событие надо отметить. Пошли в ресторан!

— Не надо.

— Почему? Ведь мы не обедали.

— Тебя не пустят. Ты одет неподобающе.

И Ивета поспешила в сторону парка. Арнольд сел на ближайшую скамейку, курил и наблюдал, как работает конвейер бракосочетаний. Новобрачные приходили и уходили, свадебные лимузины сверкали на солнце, люди улыбались и казались беспредельно веселыми. А он лишь дымил одну сигарету за другой, стряхивал пепел со штанин джинсов и думал, что хочется выпить. Здорово выпить, сто пятьдесят граммов одним залпом, как это могут только настоящие мясники. Он так и сделал в ближайшей забегаловке, где над прилавком красовалась вывеска: *«Водку без бутерброда не отпускают»*. Засохший бутерброд с колбасой остался на тарелке нетронутым, а напиток оказался совершенно безвкусным, как . . .

. . . напиток показался совершенно безвкусным, как вода. Когда уголки губ были вытерты и фляжка положена в изголовье, Арнольд повернулся набок, почувствовал дрожь вагона и безуспешно старался уснуть. Перед его глазами опять по солнечной парковой дорожке уходила Ивета, чтобы никогда, никогда не вернуться. Она смешалась с толпой пол-летнему одетых людей, забрав с собой его, Арнольда, молодость, то неповторимое ощущение, когда кажется, что все происходящее — только увертюра перед чем-то большим и существенным. Жизнь как следует еще и не начиналась, зачем волноваться по пустякам, нужно только захотеть, по-настоящему захотеть, и все станет на свои места, исполнится любое желание, мечта потеряет очарование волшебства и превратится в реальность. Деньги тогда кажутся лишь обпечатанной бумагой, успехи неизбежны и заранее предreshены, как ежегодный день рождения, а уходившее время до смешного мало, измержется арифметическими величинами. Ивета ушла, оставив взамен изрядную дозу горечи. Неужели мир сверкает всеми цветами радуги, только если смотреть на него через водку в хрустале? Неужели жизнь надо провести в казармах, где по вечерам солдаты, идя спать, выкручивают лампочки и блаженно вопят: *«День прошел, и черт с ним!»* Неужели единственный рецепт бодрости — это вера в слова, что все будет хорошо? У скольких уже поколений так вот, на майском солнышке, уходила молодость, менялись только мода, покрой одежды и материал, а все остальное оставалось неизменным. Самое грустное, что обещанный маяк будущего, указывающий путь к благосостоянию, общим радостным песням и парадам, на самом деле просто мельтешение трухи в кладбищенской тьме. Знаешь, потому что не дурак, у тебя голова на плечах и глаза во лбу, знаешь и все же мирисься, потому что становится приятной, похожей на индугенцию мысль, что человек ничего изменить не может, разве что повеситься или съест крысиный яд.

И про уход Иветы легче всего было бы сказать: дура набитая, не оценила, самая настоящая гусыня, одни клецки в голове. Можно винить ее мать, непрерывно зудевшую, что второй зять Норберт несравнимо лучше, трудолюбивее, семьянин, зарабатывает, достает, копит. Чего только

не делают хорошие зятя, и канализацию починят, и с родственниками пообщаются, и пеленки деткам простирнут, и в депутаты выбьются. А у него, у Арнольда, только и есть, что гордость и зазнайство, циничные разговоры и впитавшаяся в кожу лазаретная вонь. Можно бы, все можно. Даже обвинить систему, даже поносить строй. Очень просто залезть в потемках под одеяло и показывать там фиги в сторону рубиновых созвездий Кремля, гораздо более ясно сказать, что паутина системы может надежно и последовательно душить народ, но ячея у этой сети большая, а дух народа велик, задушить его система не в силах, так что дыши, дыши полной грудью!.. Подыщи исторические примеры и признай: виноват, старик, ты сам. Недостаточно провозгласить себя хозяином жизни, просто надо им стать.

Арнольд все еще лежал на левом боку. Казалось, что сердце бьется прямо о твердый матрац. Чего врать, Ивета ушла, и это унижение он годами никак не мог проглотить. Неделю назад они оба случайно столкнулись на улице, как раз у бронзового образа вождя класса-гегемона. Арнольд схватил ее за локоть и...

... схватил ее за локоть и не нашел ничего другого, как спросить:

— А цветы где? На святое место без цветов не ходят.  
— У тебя все шуточки на уме...

На этот раз Ивета не отказалась от совместного обеда. Экспресс-бар соседней гостиницы был довольно пуст, а кухня вполне прилична. Они ели говяжье филе и болтали всякую чепуху.

— Знаешь, Ивета, я еще раз женился, рискнул.  
— Слышала.  
— Да, Рига — маленький город. Салата не хочешь?  
— Да, пожалуйста...  
— А ты? ... Ты замужем?  
— Нет. Был один...  
— Дружок?  
— Дружок.  
— И...  
— Глуповат оказался.  
— Спасибо.  
— За что, Арнольд?  
— Глупым ты меня никогда не называла.

Вместо ответа Ивета рассмеялась.

— Как-то я обещал осыпать тебя жемчугами, а ты смеялась и утверждала, что сначала тебя засыплют землей.

— Не забыл.  
— Что еще заказать?  
— Мороженое.  
— И коньяк?  
— И коньяк.

Когда официант исчез, Арнольд немного погрел в ладони пузатую рюмку и наблюдал, как Ивета ест мороженое. Сквозь широкое окно над ними сверкало послеобеденное солнышко, и Арнольд заметил мелкие морщинки на шее женщины, эти первые вестницы старости, которые так трудно размассировать или умаслить мазками питательного крема.

— Выпьем, Иветочка!  
— Со свиданием?  
— На прощание... Восьмого я уезжаю.  
— Уезжаешь? — Ивета отодвинула вазочку с мороженым. — И далеко?  
— Еще не решил. Может быть, Канада, может — ФРГ, может быть — Чили. Навещу генерала Пиночета. А в Южноафриканской республике высокий жизненный уровень и идеальный для европейца климат.  
— Ах, вот как...

Они выпили, и Арнольд потянулся за ломтиком лимона. За соседним столиком арабы разговаривали по-французски, через дверь в зал глазели две шлюхи, хотелось курить, а лимон показался совсем горьким, с толстой и жесткой кожей.

— Тебя, Арнольд, не пугает...

— Пугает! — прервал он резко. — Нечего скрывать, еще как пугает.

— Ты едешь как чемодан.

— Надеюсь — ценный чемодан.

— Эмигрант... Это так унижительно.

— Эмигрант? Ну и что... Гораздо хуже, Ивета, чувствовать себя эмигрантом в своей стране, слышишь, в своей стране. Я, Ивета, не хочу быть туземцем, которому сыплют в ладошки красные бусы и дают поиграть с зеркальцем.

— Все же не могут уехать в Израиль.

— Меня не интересуют все.

— Ты не меняешься.

— Со стороны виднее.

— Хотя нет, меняешься, все же меняешься. Ты стал злым.

— Все могло быть иначе. Ты сама выбрала.

— Перестань, Арнольд!

— Выпьем по глоточку. Коньяк и мороженое очень подходят друг к другу.

— Давно ты не работаешь?

— Уже год скоро... Ха, меня в тюрьму хотели упрятать. За взятки. Еле откупился. Кто бы мог подумать, что жизнь сделает из меня... Да, у Фемиды тоже весы лавочницы. Теперь читаю в русских журналах о *перестройке*, смотрю, как латыши обезьянничают вслед, изучаю иностранные языки и два раза в неделю хожу в морг поупражнять пальцы.

— Но ты продаешься, Арнольд, продаешься, как...

— У меня будет три автомобиля! *«Mercedes»* — для представительства. Для дальних поездок — *«порше»*. Для города — какая-нибудь практичная японская букашка. Здорово, не так ли? Конечно, продаюсь. Мы все только и делаем, что стараемся себя подороже продать. И стыдиться мне нечего, я не пытаюсь всучить кому-то подержанный *«жигуль»*. Продаешься, только это и слышишь! А что взамен? пустая болтовня, влажные глаза и зависть. Даже кровь целого народа не сможет спасти умирающую идею. Любопытно, то мне пророчат голодную смерть, то завидуют миллионам, которые я там зарабатую. И вдобавок говорят о продажности. Люблю наших патриотов, они люди крайностей. За кусок мяса или квартиру готовы и глотку перегрызть, и зад лизать. Рассказываем анекдоты и миримся с тем, что их герои шлют наших сыновей в чужую страну стрелять и умирать, благодарим за демократию, потому что теперь вот сможем на своей земле говорить на родном языке. Так что все мы одинаковы...

— Опять я, я...

— Да, я! Преступаю границу, о которой большинство даже думать боится... А как иначе? Я чувствую, как мне дышат в затылок. Поколения предков спрашивают с меня, для того ли мы столетиями рождались и умирали, чтобы ты, последний, трусливо поддался течению? Как дерьмо, как тряпка?..

— Ты, кажется, оправдываешься.

— Даю взятку совести. Я же сказал, мне страшно, по пупку холодные мурашки бегают. Мало приятного вылезти голым на перрон венского вокзала со ста дерьмовыми долларами в кармане. Знаешь, как не хочется что-либо менять. Мол, все образуется, все будет хорошо.

— Но ты сильнее своей слабости?

— Конечно. Как видишь, я даже не спился.

— Оставайся лучше в Риге.

— Бегу сдавать билет.

— Останешься и сохранишь главное утешение. Сможешь жить с убеждением, что тебя тут загубили, разменяли на мелочь...

— Я думал об этом, — Арнольд перегнулся через столик. — И, вполне возможно, вся моя карьера выльется во вскрытие фурункулов в какой-нибудь провинциальной областной кассе.

— Чего ты смеешься?

— Ты могла бы подстроить мне фантастическое свинство. Позвонить в компетентные органы и сообщить, что



Коллаж СЕРГЕЯ ДАВИДОВА

этот фрукт Арнольд собирается переправить через кордон ужасно ценную почтовую марку. Ну, на анонимные сигналы внимания не обращают, но марка — все же марка, валюты государству не хватает, как народу водки, меня бы на границе раздели догола, отодрали подметки у башмаков, отправили бы на рентген.

— Спасибо, Арнольд, за обед. Мне пора.

— Посиди, куда тебе спешить? Может быть, шампанского, прощальный бокал шампанского?

— Не утруждай себя. Мне действительно надо идти.

— Послушай, Ивета! Я вытащу тебя из этой лужи. Потерпи годик, я кого-нибудь пришлю. Еще не знаю, янки, жида, негра или педераста. согласишься на предложение руки и сердца и уедешь, как госпожа, на «Боинге».

А Ивета возилась с губной помадой. Закончив, она еще мгновение смотрела в зеркальце пудреницы и усмехалась.

— Значит, отказываешься от свободного мира?

— Отказываюсь.

— Жаль. Париж — город моды и любви.

— Мне достаточно и французских колготок.

— Ясно, встретимся в ГУМе, у фонтана.

— В шесть часов вечера после войны...

Арнольд оплатил счет. Уходя, он посмотрел на бутылки в витрине бара, на них молились усевшиеся на высокие табуретки захмелевшие, крикливые скандинавы. Арнольду было стыдно и за глупый разговор, и за свое мучительное желание выпить. В вестибюле, у зеркала, он еще сказал:

— А мы все же были красивой парой...

Ивета ушла по аллее. Под ее ногами шуршали кленовые листья — большие и яркие, как на канадском флаге. У входа в отель среди других машин маячил «мерседес». Некогда величественный лимузин был загнан, обглодан временем и ржавчиной, даже решетка радиатора и заключенная в кольцо звезда фирмы потеряли никелевый блеск. Какой уж «мерседес», он подумал, дай бог через

неделю отложить денежки на платный туалет. Задрал рукав, он увидел...

... Арнольд увидел, что часы показывают только полвторого ночи. Самое подходящее время потихоньку слезать с полки и в одних носках отправиться шуровать по чужим карманам и чужим чемоданам. Скорый поезд неумоимо рассекал темноту, и Арнольду, припавшему к прохладному стеклу окна, казалось, что он мчится по бесконечно длинному тоннелю глубоко под землей, где горят лишь редкие лампочки. Гудят рельсы, еще немного, и состав затормозит, за окном засветятся бронзовые люстры, покажутся ухмыляющийся перрон станции, мраморные колонны, скульптуры рабочих, крестьян, красноармейцев и прочих передовиков, взирающих в застывшем вдохновении над головами пассажиров Московского метрополитена. Зашипят двери, людской поток вытащит из вагона, понесет в сторону эскалаторов, а позади уже раздастся «осторожно, двери закрываются»... Скользящие ступени несут тысячи к дневному свету, встречные же с застывшими лицами все глубже погружаются в подземелье, вдоль свободного края эскалатора, прыгая, как зайцы, несутся к вагонам опаздывающие и неврастеники, вокруг негров даже в самую большую давку образуется свободная санитарная зона, и руки российских голодающих оттягивают тяжелые сумки с покупками. В памяти Арнольда серая людская масса словно блевотина хлынула сквозь двери станции на улицы столицы, которые бедным провинциалам кажутся такими монотонными, бескрайними и утомительными, что остается только застонать в унынии: «Москва — большая деревня», — и мечтать побыстрее выбраться из этой суеты главного муравейника страны. В конце концов надоедают и солидарность улицы Горького, и очереди к картинам импрессионистов и за тряпками «Березки». Часовые переезды на такси и кооперативные квартиры с арабской мебелью и антиквариатом времен Екатерины Великой. Так же приедаются обеды в ресторанах «Интуриста» и на домашних



приемах, где знаменитости всесоюзного масштаба жуют продукцию *Общего рынка*, тренькает гитара, красной контрольной лампочкой моргает видеомонитор, можно прилечь на мягкий диван и почитать подпольный журнальчик или послушать сплетни метрополии, суждения о любовниках дочери Брежнева, украшениях жены Михаила Сергеевича, потерянных в песках Афганистана деньгах и жизнях, новостях по ту сторону барьера Шереметьевского аэропорта, рецидивах антисемитизма в Москве и об элитных, закупленных на Западе презервативах. И особенно надоедают люди, для которых Париж — только город на расстоянии трех часов лета, а Латвия — место, которое можно осязательно своим двухнедельным пребыванием на берегу моря. В конце концов все напиваются будь здоров, и округлившийся менеджер московского цирка, повозивший дрессированных медведей по обоим полушариям, желает во что бы то ни стало выпить на брудершафт и поцеловаться да вдобавок еще воинственно ноет: «Ну, скажи мне, скажи, почему вы все нас, русских, не любите?» . . . Товарищ спрашивает вполне серьезно, тут шуточками вместо ответа не отделаешься, мол, разве можно не любить народ, давший человечеству водку и гений Пушкина. Задираться тоже глупо, потому что сила всегда требует слепую любовь, тщеславную мелочь, которую не купишь и не завоеешь силой. И ответ в таких случаях поистине русский — приходится поднимать бокал за дружбу народов, и экспромт шовинизма быстро тонет в экспортной водке. Это — Москва, со столичными расстояниями и ценами, своей шкалой ценностей и возможностями, близостью правительства и посольств, вечными ожидающими у *Мавзолея* и у иностранных магазинов, миллионами мешочников и чиновников, ощущением власти, чувством вершителей судеб мира. Только здесь можно поцеловать руку прима-балерины, некогда ослеплявшей весь мир, умирая вместе с музыкой Камила Сен-Санса, костлявую руку, которую до тебя целовали многочисленные поклонники и несколько монархов, только здесь можно выпить с бравым киногероем, ныне несколько приунывшим, так как молодость пронеслась бурно, как-никак надо было покрыть пол-Москвы, только здесь можно поговорить с человеком, в тридцать защитившим докторскую, заработавшим пенсию в закрытых институтах, делая бомбы еще более разрушительными, а неделю назад вернувшимся после инспекции *саркофага* в Чернобыле. Это метрополия, которую не увидит рядовой экскурсант с подаренной профсоюзом путевкой, не отведаст за краденые или заработанные тысячи провинциальный нувориш, метрополия, в чьих коридорах власти плутают политики губернского масштаба, не в состоянии ни на вершок удлинить тесемки услужения, в петлях которых им суждено болтаться.

Арнольд перевернулся на спину и, от удовольствия зажмурив глаза, выпил за здоровье Славика. Многих лет ему . . . По правде говоря, Арнольд чувствовал себя должником перед Славиком, хотя нет, их моральные долги взаимно погасились, перечеркнуты, как банковские счета, без лишнего переключивания золотых слитков из сейфа в сейф. Все же следует признать, что это Славик однажды сдвинул первый кирпичик, который, раскачивая другие, превратил биографию в груды развалин, из которой он в конце концов спасся в спальном вагоне, чтобы в ночной темноте попрощаться с Россией. А впервые они встретились в вечер *Лиго*. Город словно вымер, полупьян. Полон песен и милицейских патрулей. Времени могло быть часов одиннадцать вечера, самый длинный день года понемногу угасал, когда . . .

. . . самый длинный день года понемногу угасал, когда раздались настойчивые удары в дверь:

— Доктор, доктор! Вы здесь?

Арнольд лениво приподнял голову с кушетки. Кричал санитар Юрис, по прозвищу Забулдыжка. Юрис, который, вероятно всего, добрался до спиртовых tinkтур и теперь ищет живого человека поговорить.

— Чего вопишь, — крикнул Арнольд, — объявлена мобилизация?

— «Скорая» одного привезла. Еле дышит.

— Иду! — ответил Арнольд и, нагнувшись, поцеловал голую сестричку: — Извини, работа на первом месте.

— Никогда покоя нет, — прошептала девчонка и натянула на себя простынку.

А Арнольд в полумраке помещения нащупал брюки и обувь. Долго возился со шнурками. Наконец, схватив брошенный на рога аппарата *УВЧ* халат, открыл дверь кабинета физиотерапии. Спеша по пустому коридору, Арнольд был уверен, что сейчас увидит традиционного пациента праздничных дней — жертву автокатастрофы, утопленника с полными тины легкими, сердечника, слегка перепившего и схлопотавшего инфаркт миокарда, черт знает, может быть, банальное отравление пищей и вывернутый, как карман, наизнанку желудок, искаженное инсультом лицо, почечная недостаточность, кухонный нож в животе, варианты на выбор, ими полны медицинские энциклопедии, а их лаконичными иллюстрациями можно считать фамилии в черных рамках некрологов вечерних газет.

В приемном отделении было полно народу. В ординаторской в глиняных горшках увядали Яновы травы. в чашках стыл кофе, пел забытый транзистор. В узком коридорчике крутились незнакомые люди в штатском, дежурный персонал, несколько любопытных во фланелевых пижамах, даже сержант милиции с пышными усами и кобурой пистолета на боку. Если бы не страж порядка, можно было бы подумать, что день полочки и очередной спекулянт принес в клинику груз импортной косметики или обуви. В дверях Арнольд налетел на врача «скорой помощи», оказался знакомый кадр, учился в институте двумя курсами ниже.

— Кого привез?

— Сам увидишь.

— Брежнев? Или уголовник?

— Московская знаменитость. Ох, ну и говно! . . .

— Дигноз?

— Внутреннее кровотечение . . .

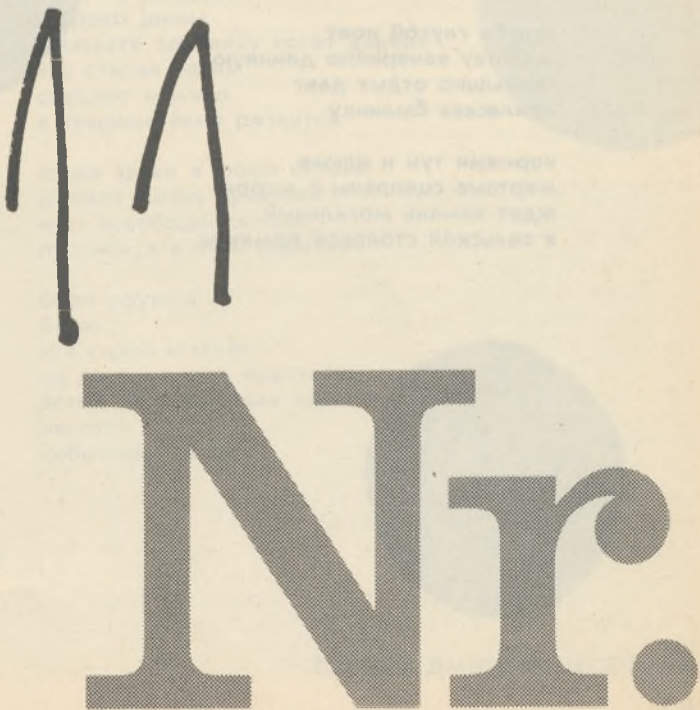
— Почему к нам? В республиканскую бы зафуговали, раз знаменитость.

— Больно нужно, чтобы он в машине преставился. Я жить хочу.

— А я не хочу?

— Судьба, дружище! Вызов-то был из театра. Три квартала от вашего лазарета.

(Продолжение следует.)



# ПЕТЕРИС ЗИРНИТИС

## МГНОВЕНИЕ I

входим мы в другое измерение  
будто погасили свет в кино  
полные любви и подозрений  
смотрим в приоткрытое окно:

воет сирена скорой  
сердце гаснет на брусчатке влажной  
везет тебе в жизни бесспорно  
улыбнись же улыбкой отважной

пачка лекарств зажата в руке  
для печени глаз и почек  
лбом прикасаясь к моей щеке  
вглядись в глубину ночи

## МГНОВЕНИЕ II

на празднике жизни брожу  
все нивы уже засеяны  
как шрам на душе ношу  
латышские кладбища сельские

голубь глухой поет  
молитву вечернюю длинную  
солнышко отдых дает  
приласкав былинку

корнями туи и ильма  
мертвые сцеплены с миром  
ждет камень могильный  
в сельской столовой поминок

## РОЖДЕСТВО

Зажги огонь  
среди угрюмой ночи  
прочувствуй сердцем  
то что видят очи

кнут опускается который век  
тебе на спину  
варвар-человек

в пучине времени полна томления  
боль наказания  
не преступления

на веки вечные Рим катится на дно  
с ухмылкой грустной  
с кислой миной  
а в это время

с отметинами от гвоздей  
рождается младенец  
в Вифлееме

## СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ. ТЮМЕНЬ

на голой бетонной трассе  
воздух словно наждак  
денег не будет в кассе  
вам видится так:

всяк свое уже понял  
лишь вы заглянули в класс  
как в паспорте на ладони  
написано все про вас

ненцы уходят редким леском  
в гуще усталых оленьих спин  
банку консервную пес языком  
как землю —  
вылизывает до глубин

## ПСКОВСКОЕ ШОССЕ

крови пятно в придорожной пыли  
ветер утих и тревоги сигнал  
кабель на край земли переслал  
синяя вспышка мелькает вдали

мало-помалу все возвращай  
что накопил ты на этой стоянке  
для бычьих ноздрей железяки  
хрупкий мальчик кует —  
мальчика мачеха любит  
мать не признает

заезжай на Видземский холм  
знаю одно я прочно  
Отчизну изучают очно  
этот путь — твой дом

## ПОИСК

ищут учеников  
умный и дурень  
ищут Яна с Иудой  
золотое и серебряное  
барахло  
свалено мертвой грудой

золото молчит  
серебро намекает  
папирус пергамент бумага  
идите в ученики говорят  
Иуда и Ян  
ждет каждого ученый муж  
вас уже ищут  
по всей земле  
пуля и  
липучка для мух

## СРЕДНЯЯ СТАТИСТИКА ДЛЯ ГРАЖДАН

от всего не отказываются  
малость самая все же нужна  
перед ликом великого времени  
что же в среднем страна нам должна

коробка с лекарствами горсть идеалов  
школа курорт тюрьма  
юности синие дали  
тихое место для вечного сна

в воздухе растворяется сам  
тот кому не нужно ни черта  
а песчинки бегут и бегут в часах  
но и в этом своя скромная красота

## НЕ К МЕСТУ

августовская туча отправилась в путь  
разобиженная и печальная  
календарь притворщик и лгун  
сбросил лист как любовь случайную

в старых рифмах с похвальным старанием  
жмут стихи по привычной дистанции  
поцелуй этот был согласован заранее  
в самой высшей инстанции

прибыв к бывшему месту проживания  
я раскланиваюсь с вороною  
не ко времени чужое страдание  
рябчик проковылял с крылом переломанным

## ЗАВТРАК НА ТРАВЕ

улыбаясь завтрак на траве  
сервирует официант души  
он знает — в чьей-то голове  
закон будущего шуршит

от Германии и от России взгляд  
ясный и холодный отведу  
выклянченной шоколадке рад  
медвежонок в зоосаду

на траве — столь милые всем нам —  
цесисское пиво раки.  
рассекая Латвию как шрам  
поле черное бежит через овраги

## КАРАВАН

шоссе в колдобинах  
сгорают шины  
в кювете клубнику сосет девица  
как старая песня  
слащаво и мило  
в кувшине вино режется

юные звуки и юные строки  
делают жизнь приятной  
и от всеобщей склоки  
пускаемся в путь обратный

бери оружие.  
бери.  
и в строй вставай.  
на лысых шинах выступаем труппой  
вслед за печальным караваном лай  
несется  
собачонки глупой



Рисунок МАМУКИ ДЖАПАРИДЗЕ

**ИСААК БАШЕВИС-ЗИНГЕР** родился в Польше в 1904 году. в 1935 году он эмигрировал в США, где много лет работал постоянным сотрудником и корреспондентом «Ежедневной еврейской газеты». В настоящее время живет в Нью-Йорке.

И. Б.-Зингер — автор нескольких романов, многих рассказов и повестей. Мировую известность он приобрел именно как автор рассказов. Произведения Зингера переведены на многие европейские языки и языки народов мира. Американская критика считает Зингера классиком современной американской литературы. Присуждение И. Б.-Зингеру в 1978 году Нобелевской премии по литературе явилось заслуженным признанием таланта большого писателя.

## ИСААК БАШЕВИС-ЗИНГЕР

# МАЛЕНЬКИЕ САПОЖНИКИ

I

## Сапожники и их семейное древо

Семья маленьких сапожников была известна не только во Фрамполе, но и в прилегающей округе — в Янове, Крешеве, Билгорове и даже в Замосце. Абба Шустер, основатель этой ветви, появился во Фрамполе какое-то время спустя после погромов Хмельницкого. Он взял себе участок на холме, весь в пнях, позади мясных рядов, и там построил дом, который простоял аж до наших дней. Не потому, что он был уж в таком хорошем состоянии — каменный фундамент раскрошился, маленькие оконца покосились, а дранка на крыше позеленела от плесени и была увешана гнездами ласточек. Более того, дверь ушла в землю; балясины искривились, и вместо того, чтобы подниматься вверх на крыльцо, приходилось спускаться вниз. Тем не менее дом уцелел от бесчисленных пожаров, что опустошали Фрамполь в те далекие годы. Но стропила настолько прогнили, что на них поросли грибы, и когда требовалась древесная пыль, чтобы остановить кровь во время обрезания, нужно было только отломить кусочек дерева от наружной стены и растереть между пальцами. Крыша так ввалилась, что трубочист не мог взобраться на нее и осмотреть трубу, и на крышу все время сыпались искры. Только благодаря Божьей милости дом устоял под бедствиями.

Имя Аббы Шустера сохранилось на пергаменте в анналах Фрампольской еврейской общины. У него было в обычае каждый год делать по шесть пар обуви и раздавать их вдовам и сиротам; признавая его заслуги в благотворительности, синагога призывала его к чтению Торы, уважительно называя «Морену», что означает учитель.

Его могильный камень на старом кладбище исчез, но сапожники знали расположение могилы — неподалеку росло ореховое дерево. Древние старухи были уверены, что это дерево выросло из бороды реба Аббы.

У реба Аббы было пять сыновей: все они, кроме одного, разъехались по соседним городам; только Гейтцель остался во Фрамполе. Он продолжал щедрую деятельность своего отца и делал обувь для бедных, а также был известен в братстве могильщиков.

Анналы рассказывают также, что у Гейтцеля был сын Гедель и что у Геделя был сын Трайтель, а у Трайтеля — Гимпель. Сапожное мастерство передавалось из поколения в поколение. В семье был твердо установлен обычай, по которому старший сын оставался дома и заменял своего отца за верстаком.

Сапожники были похожи один на другого: низкорослы, с волосами песочного цвета, основательные и честные работники. Жители Фрамполя верили, что реба Абба, глава рода, обучился сапожному делу от мастера этого ремесла в Бродах, который открыл ему секреты укрепления кожи и ее прочности. В погребке дома маленькие сапожники держали чан для вымачивания шкур. Один Бог знает, что за составы они добавляли к дубильной жидкости. Они не раскрывали секретов непосвященным и передавали их от отца к сыну.

Поскольку мы не собираемся разбираться со всеми поколениями маленьких сапожников, то ограничимся тремя последними. Реба Липпе оставался без наследника

вплоть до самой старости, и все уже были уверены, что род прекратится вместе с ним. Но когда ему было далеко за 60, его жена умерла, и он женился на молочнице, которая родила ему шестерых. Старший сын Файвел был вполне пригоден для дела. Он был известен как деятель в общине, посещал все важнейшие собрания и много лет исполнял должность служки в синагоге портных. В этой синагоге был обычай выбирать нового служку каждый год на Симхас Тойре. Вновь избранному оказывалась честь и на голову водружалась тыква; тыква была уставлена зажженными свечами, и счастливец водили от дома к дому и на каждой остановке подкрепляли вином, струделем или лекахом. Однако реб Файвел умер как раз на Симхас Тойре, день радости дарования Торы, во время исполнения этого обхода; он упал плашмя на рыночной площади, и его не смогли спасти. Поскольку Файвел был известен своими добрыми делами, то рабби, который вел церемонию, объявил, что свечи, которые Файвел нес на своей голове, будут освещать ему дорогу в рай. Его завещание, найденное в крепком ящике, требовало, чтобы молоток, шило и колодка, выложенные на черной материи, были установлены на его гробу и ехали с ним до кладбища, как символ того, что он был человеком мирной профессии и никогда не обманывал своих заказчиков. Его воля была исполнена.

Старшего сына Файвела звали Абба, по основоположнику. Как и все в роду, он был небольшого роста и коренастый, с широкой рыжей бородой, высоким лбом, исчерченными морщинами, какие бывают только у раби и сапожников. Глаза его тоже были желтыми, с постоянным выражением как у хмурого петуха. Тем не менее он был умным мастером, добрым, как и его предки, и не имел себе равных во Фрамполе как человек слова. Он ничего не обещал, если не был уверен, что сможет выполнить; когда не был уверен — он говорил: кто знает; Божья воля; может быть. Кроме того, он был человеком и некоторой учености. Каждый день он читал главу из Торы на идиш и в свободное время изучал духовную литературу. Абба никогда не пропускал ни единой проповеди странствующих проповедников, которые приезжали в город, и особенно любил те отрывки из Библии, которые читались в синагоге в зимние месяцы. Когда его жена Пеша читала ему по субботам истории из Книги Бытия, он воображал себя Ноем, а своих сыновей Симом, Хамом и Яфетом. Иногда он представлял себя Авраамом, Исааком или Яковом. Он часто думал, что если бы Всемогущий попросил его принести в жертву старшего сына Гимпеля, он бы встал рано утром и исполнил Его требование без колебаний. И уж конечно он оставил бы Польшу и дом, где родился, и пошел бродить по земле, куда пошлет его Господь. Он знал наизусть историю Иосифа и его братьев, но никогда не уставал перечитывать ее снова и снова. Он завидовал древним, поскольку Царь Вселенной являлся им и творил для них чудеса; но утешал себя мыслью, что от него, Аббы, к Патриархам протянута неразрывная цепь поколений — как если бы он также был частью Библии.

Он вышел из чресел Якова; он и его сыновья были из того семени, число которых стало как песок и звезды. Он находился в изгнании, поскольку евреи Святой Земли грешили, но он ожидал спасения и был готов, как только время настанет.

Абба был лучшим сапожником Фрамполя. Его обувь всегда была по ноге, не слишком тесной и не слишком просторной. Люди, страдавшие от обморожений, мозо-

лей или расширения вен, были особенно довольны его работой, уверяя, что сделанная им обувь приносит им облегчение. Он не признавал новой моды: всех этих мишурных ботинок и вечерних туфель с забавными каблучками, с едва пришитой подошвой, которая отваливалась от первого дождя. Его клиентами были респектабельные бюргеры Фрамполя или крестьяне окрестных деревень — и им было лучше не надо. Как и в старые времена, он снимал с них мерку веревочкой с узелками. Большинство женщин Фрамполя носило парики, но его жена Пеша покрывала голову капором. Она родила ему семь сыновей: Гимпеля, Гетцеля, Трайтеля, Геделя, Файвела, Липпе и Анания. Все они были коренастые и с песочными волосами, как у их отца. Абба говорил, что делает их всех сапожниками. Он позволял им глядеть на верстак, когда они были еще совсем маленькие, и по временам внушал им старую истину — хорошая работа всегда будет нужна.

Он проводил по 16 часов на скамье, постелив мешок на колени, прокалывал дырки своим шилом, сшивал проволоочной иглой, подкрашивал и полировал кожу, соскребая ее куском стекла, и во время работы мурлыкал отрывки из гимнов Дней Покаяния. Обычно кощка жалась поблизости и наблюдала за его работой, как если бы следила за ним. Ее мать и бабушка в свое время ловили мышей для маленьких сапожников. Абба мог смотреть из окна и видеть внизу за холмом весь город и даль за ним, вплоть до дороги на Билгоров и сосновых лесов. Он наблюдал за группами пожилых женщин, которые собирались каждое утро у мясных рядов, видел молодых людей и уважаемых горожан, когда они шли во двор синагоги и обратно; девушек, идущих к колонке за водой, и женщин, спешащих в сумерки на ритуальное омовение.

По вечерам, когда солнце садилось, дом наполнялся вечерним теплом. Лучи света плясали по углам, скользили по потолку и достигали бороды Аббы, сверкая цветом прядильного золота. Пеша, жена Аббы, обычно варила кашу и суп на кухне, дети играли, соседские женщины входили и выходили из дома. Абба поднимался со своего места, умывал руки, надевал длинное пальто и отправлялся в синагогу портных на вечернюю молитву. Он знал, что широкий мир был наполнен неизвестными городами и далекими землями, что Фрамполь на самом деле был не больше точки в небольшом молитвеннике, но ему казалось, что его маленький городок был центром вселенной, а его дом в самой его середине. Он часто думал, что когда Мессия придет, чтобы вести евреев в землю Израильскую, он, Абба, останется все же во Фрамполе, в своем собственном доме, на своем холме. В субботу или в Святые Дни воссядет он на облако, и пусть оно несет его тогда в Иерусалим.

## II

### Абба и семь его сыновей

Поскольку Гимпель был старшим, ему предназначено было заменить отца, и именно поэтому он стал предметом особой заботы Аббы. Он послал сына к лучшим учителям иврита и даже нанял репетитора, который обучал его зачаткам идиша, польского, русского и арифметики. Абба сам спускался с мальчиком в погреб и объяснял ему состав дубильной жидкости. Он открыл ему, что в большинстве случаев правая нога больше левой и что причина всех неудач в подгонке обуви обычно заключается в большом пальце ноги. Затем он обучил Гимпеля приемам кройки подошв и внутренних стелек, секретам загнутой и остроносой обуви, высоких и низких каблучков, подгонке обуви заказчикам с плоскостопием, с наростами на больших пальцах и мозолями.

По пятницам, когда обычно стихал наплыв работы, старшие мальчики должны были посещать хедер с 10 утра и помогать отцу в лавке. Пеша пекла халы и готовила обед. Она прихватывала первую выпеченную булку и несла ее, пышущую печным жаром, непрерывно дую на нее и перекидывая с руки на руку, чтобы показать Аббе ее верх и низ, пока он утвердительно не кивнет головой. Тогда она приходила еще раз с черпаком и давала ему отхлебнуть рыбного супа или просила его попробовать кусочек свежеспеченного пирога. Пеша ценила его суждение. Когда она отправлялась покупать одежду себе или детям, она приносила домой образцы, чтобы он выбрал. Даже перед тем как идти к мяснику, она спрашивала его мнение — что она должна взять: грудинку или на жаркое, краешек или на ребрышке. Она советовалась с ним не потому, что боялась его или не имела своего собственного мнения, но просто потому, что уже усвоила — он всегда знает, что говорит. Даже когда она была уверена, что он неправ, он умел вывернуть все так, что все-таки прав он. Он никогда не принуждал ее, а только бросал на нее взгляд, давая понять, что она сглушила. Так же он управлял и детьми. Ремень висел на стене, но он редко снимал его; он добивался своего добротой. Даже чужие относились к нему с уважением. Купцы продавали ему кожи по справедливой цене и не возражали, когда он брал в долг. Его постоянные заказчики верили ему и платили назначенную им цену без возражений. Его всегда призывали шестым для чтения Торы в синагоге портных, что было довольно почетным, и когда он занимал или у него просили денег, ему не нужно было напоминать. Он выплачивал без задержки сразу после субботы. Горожане скоро оценили его порядочность, и хотя он был только простым сапожником и, если говорить по правде, в некотором пренебрежении, они обходились с ним как с заслуженным человеком.

Когда Гимпелю исполнилось тринадцать лет, Абба обернул его поясицу мешковиной и усадил на скамью работать. После Гимпеля Гетцель, Трайтель, Гедель и Файвел стали подмастерьями. Они были его сыновьями, и он кормил их, но денег никогда не платил. Двое самых маленьких, Липпе и Ананий, еще посещали начальный хедер, но и они уже тянули руки к верстаку. Абба и Пеша гордились ими. По утрам шесть работников шагали на кухню завтракать, мыли шесть пар рук с надлежащим благословением, и шесть ртов жевали запеканку и ржаной хлеб. Абба любил усадить двух младших мальчиков по одному на колени и напевать им старую фрампольскую песню:

«У мамы было,  
Да, да, да,  
О Боже, десять малышей!

И первый был Авремеле,  
Второго звали Береле,  
И третьего звали Гимпеле,  
Четвертый был Давиделе,  
И пятого звали Гершеле . . .».

И все мальчики хором подхватывали:  
«О, Боже мой, Гершеле!».

Теперь, когда у него были подмастерья, Абба мог выполнять больше работы, и доходы его возросли. Жизнь во Фрамполе была дешева, и поскольку крестьяне часто дарили ему или меру зерна, кусок масла, мешок картошки или горшок меда, петуха или гуся, он мог откладывать сбереженные таким образом деньги. Теперь, когда их благополучие возросло, Пеша начала говорить о перестройке дома. Комнаты были слишком тесные, потолок слишком низкий. Пол качался под ногами. Штукатурка на стенах ободралась, и все виды личинок и червей проползали через сгнившие бревна. Семья жила в постоянном страхе, что потолок может упасть

им на голову. Хотя они и держали кошку, дом кишел мышами. Пеша настаивала, что необходимо снести эту развалину и поставить новый дом.

Абба не сразу сказал «нет». Он сказал жене, что обдумает это. Сделав так, он выразил свое мнение, что хотел бы оставить все как есть. Прежде всего он боялся сносить дом, поскольку это может привести к несчастью. Во-вторых, он боялся дурного глаза — люди были завистливы. В-третьих, он боялся расстаться с домом, в котором его родители и деды и вообще весь род, все прошлые поколения жили и умирали. Он знал каждый угол своего дома, каждый шорох и морщинку. Когда один слой краски отваливался, появлялся следующий, но уже другого цвета, а за ним еще слой, и опять другого цвета. Стены напоминали альбом, в котором отразилась судьба семьи. Чердак был забит наследством — столы и стулья, скамейки и лапы начинающих сапожников, точильные камни и ножи, горшки, сковородки, постельные принадлежности, доски для солений, детские люльки. Мешки, полные изодранных молитвенников, были рассыпаны на полу.

Абба любил залезать на чердак в жаркий летний день. Пауки плели огромные паутины, и солнечные лучи, проникая сквозь трещины, радугами преломлялись на нитях. Все лежало под толстым покровом пыли. Когда он внимательно прислушивался, то слышал шепот, бормотание или легкое царапание, как будто невидимые существа были заняты бесконечной деятельностью, переговариваясь на неземном языке. Он был уверен, что души его предков следили за домом. Он сильно любил землю, на которой стоял дом. Сорняки были в рост человека. Все вокруг поросло густой кустистой растительностью и терновником, листья и ветки хватали за одежду, как будто это были зубы или клювы. Мухи и комары роились в воздухе, а земля кишела червями и змеями всех видов. Муравьи возводили свои холмики в этой чаще, полевые мыши копали свои норки. В центре этого запустения росла груша; каждый год, во время празднования Ковчега, она давала маленькие плоды, по вкусу и твердости напоминавшие дерево. Птицы и пчелы, а также большие мухи с позолоченными брюшками летали над этими джунглями. Грибы-поганки выскакивали после каждого дождя. Земля была не возделана, но незримая рука охраняла ее плодородие.

Когда Абба стоял здесь, глядя на летнее небо, он забывал себя в созерцании облаков, принимающих форму морских кораблей, стад овец и слонов или веников; он чувствовал присутствие Бога, Его прозорливость, Его милость. Он воистину мог видеть Всемогущего, сидящего на Троне Славы, а земля была подножием Его. Сатана побежден; ангелы поют гимны. Книга Памяти, в которую заносятся все дела людей, лежит открытой. Временами на закате Аббе казалось, что он видит поток огня из нашего нижнего мира. Пламя вырывалось из горящих угольев; волна огня вырастала, затопляя берега. Когда он прислушивался, то был уверен, что слышит приглушенные крики грешников и насмешливый хохот злого духа.

Нет, все было и так хорошо для Аббы Шустера. Нечего было менять. Пусть все стоит, как и стояло века, пока не проживет отпущенное ему время, а он будет похоронен на кладбище посреди своих предков, которые обува́ли священную общину и чьи добрые имена сохранились не только во Фрамполе, но и в округе.

### III

## Гимпель эмигрирует в Америку

Потому в пословице и говорится: человек предполагает, а Бог располагает.

Как-то в один из дней, когда Абба работал над ботин-

ком, старший сын Гимпель вошел в мастерскую. Его веснушчатое лицо пылало, а песочные волосы были растрепаны под шапочкой. Вместо того чтобы занять свое место на скамейке, он остановился возле отца, нерешительно посмотрел на него и наконец выговорил: «Отец, я должен тебе что-то сказать».

«Говори, я же не мешаю тебе», — отозвался Абба.

«Отец, — закричал он, — я уезжаю в Америку».

Абба выронил свою работу и поднял брови. Это было самое худшее, что он мог бы услышать.

«Что случилось? Ты кого-нибудь ограбил? Или ты ввязался в драку?»

«Нет, отец».

«Тогда зачем же ты хочешь бежать?»

«Для меня нет будущего во Фрамполе».

«Почему нет? У тебя есть ремесло. Бог даст, женишься в свое время. У тебя есть все, чтобы спокойно глядеть в будущее».

«Я страдаю от местечковой жизни, я страдаю от этих людей. Это просто вонючее болото».

«Когда они соберутся и осушат его, — сказал Абба, — здесь не будет больше болота».

«Нет, отец, я имею в виду не это».

«Тогда что ты имеешь в виду? — закричал Абба сердито. — Выскажись».

Мальчик высказался, но Абба из этого не мог понять ни слова. Сын был задавлен синагогой, говорил очень ядовито, и Абба мог только представить себе, чем была переполнена душа мальчика: учителя иврита били учеников, женщины опорожняли помойные ведра возле дверей, мастеровые шатались по улицам; нигде нет туалетов, и публика облегалась где вздумается — позади бани или вообще в открытую, способствуя распространению эпидемий и заразы. Он издевался над знахарем Ерцелем, сватом Меншелем, не пощадил и двор рабби; осмелел посещение ритуальной купальни, и прачек, и богадельню, профессиональные и благотворительные общества.

Сперва Абба испугался, что мальчик не в своем уме, но чем дальше тот продолжал свою речь, тем яснее становилось, что он сбился с правильного пути. Яков Райфман, атеист, часто разглагольствовал в Шебрешине, недалеко от Фрамполя. Его ученик, позор Израиля, имел привычку навещать тетку во Фрамполе и собирал вокруг себя таких же бездельников. Аббе никогда и в голову не приходило, что Гимпель попадет в такую компанию.

«Что ты сказал, папа?» — спросил Гимпель.

Абба думал. Он знал, что не было смысла убеждать Гимпеля, и он помнил пословицу: гнилое яблоко портит всю бочку.

«Ладно, — ответил он. — Что я могу поделать. Если хочешь уходить, уходи. Я не буду держать тебя».

И он продолжил прерванную работу.

Но Пеша не сдалась так легко. Она умоляла Гимпеля не уезжать так далеко; она рыдала и заклинала его не навлекать стыда на семью. Она даже побежала на кладбище к могилам предков, чтобы найти заступничество у мертвых. Но наконец и она убедилась, что Абба прав: было бесполезно отговаривать. Лицо Гимпеля становилось твердым, как кожа, и в его желтых глазах зажигался недобрый огонек. Он стал чужим в собственном доме. Он провел эту ночь со своими друзьями и возвратился к утру, чтобы уложить молитвенное покрывало, филактерии, несколько рубашек, одеяло и пару крутых яиц, — и был полностью готов к отъезду. Он скопил достаточно денег на дорогу. Когда мать увидела, что все уже готово, она упрашивала его взять с собой хоть банку варенья, бутылку вишневого сока, постельные принадлежности, подушки. Но Гимпель отказался. Он собирался тайком перейти границу с Германией, и ему было лучше сделать это налегке. Словом, он поцеловал маму,

сказал «до свидания» братьям и друзьям и ушел. Абба, не желая расставаться с сыном в гневе, проводил его до вагона на станции в Райвитце. Поезд прибыл в полночь — с шипением и свистом, суетой и шумом. Абба принял фары локомотива за глаза притаившегося дьявола и бросился в сторону от дымовых труб с их столбами дыма, искрами и клубами пара. Слепляющий свет только усиливал темноту. Гимпель как помешанный метался со своим багажом, а отец бежал за ним. В последний момент мальчик поцеловал у отца руку, и Абба крикнул вдогонку темноте: «Удачи! Не забывай своей религии». Поезд тронулся, оставив в ноздрях у Аббы запах дыма и звон в ушах. Земля тряслась под поездом, как будто мальчика утащили демоны. Когда он вернулся домой и Пеша с плачем припала к нему, он сказал ей: «Бог дал — Бог взял . . .».

Месяцы проходили без весточек от Гимпеля. Абба знал, что так бывает с молодыми людьми, оставляющими свой дом, — они забывают самое дорогое. Как говорит пословица: с глаз долой, из сердца вон. Он сомневался, что когда-нибудь услышит о нем, но однажды из Америки пришло письмо. Абба узнал руку сына. Гимпель писал, что границу перешел удачно, что видел много незнакомых городов, провел четыре недели на борту корабля, питаясь картошкой и селедкой, потому что не хотел касаться нечестивой пищи. Океан был очень глубок, а волны высотой с небо. Он видел летающих рыб, но не видел ни сирен, ни тритонов и не слышал их пения. Язычники говорят по-английски. Никто не ходит с потупленными глазами, каждый держит голову высоко. Он встретил в Нью-Йорке много земляков. Они все одеты в короткие пальто. Он также. Ремесло, которому он обучился дома, пришлось очень кстати. С ним все ол райт; он зарабатывает себе на жизнь. Он напишет еще большое письмо. Он целует своего отца, мать и братьев и посылает приветы друзьям.

В конце концов дружеское письмо.

В своем втором письме Гимпель сообщал, что влюбился в девушку и купил ей бриллиантовое колечко. Зовут ее Беся, она из Румынии и шьет платья. Абба надел очки в оловянной оправе и провел много времени в разборе письма. Где мальчик выучил столько английских слов? Третье письмо возвещало, что он женился. В письме была фотография его и жены.

Абба не мог в это поверить. Его сын был одет в дорогое пальто и высокую шляпу. Невеста была разодета, как принцесса: белое платье с хвостом и вуаль; в руках она держала букет цветов. Пеша только взглянула на снимок и тут же начала плакать. Братья Гимпеля широко раскрыли рты. Прибегали соседи, друзья со всего города: они могли поклясться, что Гимпель волшебством перенесен в страну золота, где взял себе в жену принцессу, — точно так же, как в сборнике сказок, что книгоноша приносил в город.

Вскоре Гимпель вызвал к себе в Америку Гетцеля, а Гетцель потащил Трайтеля; за Трайтелем последовал Гедель, и Файвел за Геделем; затем все пять братьев перетащили Липпе и Аняния. Пеша жила только письмами. Она прикрепила ящик для благотворительности к дверям почты, и если приходило письмо, то опускала в щель монетку. Абба продолжал работать один. Он не нуждался больше в подмастерьях, поскольку сейчас мало тратил и мог позволить себе зарабатывать меньше. По правде говоря, он мог вообще оставить работу, поскольку дети присылали ему деньги из-за границы. Тем не менее он поднимался в свое обычное утреннее время и оставался на скамейке до позднего вечера. Слышен был стук его молотка, который соединялся со скрипом сверчка под печью, мышки в своей норке, потрескивающей на крыше дранки. Но мысли его кружились. Много поколений маленьких сапожников жило во Фрамполе. Внезапно птицы вылетели из гнезда. Что это было: наказание, осуждение? Был ли в этом какой-то смысл? Абба просверливал дырочку, втыкал деревян-

ный гвоздик и бормотал: «Так ты, Абба, знаешь, что делаешь, а Бог нет? Позор тебе, дураку. Да исполнится воля Его. Аминь!».

#### IV

### Фрампольский мешок

Почти сорок лет минуло. Пеша давно умерла от холеры во время австрийской оккупации. А сыновья Аббы разбогатели в Америке. Они писали каждую неделю, умоляя приехать и жить с ними, но он оставался во Фрамполе, в том же старом доме на пнистом холме. Его собственная могила стояла готовая рядом с Пешиной, среди маленьких сапожников; камень уже был установлен — не хватало только даты. Абба пристроил скамейку возле ее могилы, и накануне Рош Гашоне или во время поста он приходил сюда молиться и читать Плачи. Он любил это делать на кладбище. Небо было здесь намного чище и выше, чем в городе, и огромная, полная смысла тишина поднималась с освященной земли и могильных плит, поросших мхом. Он любил сидеть и смотреть на высокие белые березы, которые шевелились, даже когда не было ветра, и на ворон, пристраивающихся на ветках и напоминающих черные плоды. Перед смертью Пеша взяла с него обещание, что он больше не женится и будет регулярно приходить к ее могиле и сообщать новости о детях. Он сдержал свое обещание. Он укладывался вдоль могильного холмика и шептал ей на ухо, как если бы она была живой: «У Гимпеля еще один внук, младшая дочь Гетцеля помолвлена, благодарение Богу . . .».

Дом на холме почти развалился. Стропила сгнили совсем, а крышу приходилось поддерживать каменными столбиками. Два окна из трех были заколочены, поскольку стало невозможно подгонять стекла к рамам. Пол весь исчез, и голая, непокрытая земля лежала под ногами. Грушевое дерево в саду высохло, ствол и ветви были покрыты чешуей. Да и весь сад зарос ядовитыми ягодами и диким виноградом, было изобилие репейника, которым дети бросались на Девятое Аба. Люди клялись, что видели странный огонь, горевший там по ночам, и говорили, что чердак был забит летучими мышами, которые залетали в волосы к девушкам. Но что бы там ни было, сова действительно ухала возле дома. Соседи много раз уговаривали Аббу уйти из этой развалины, пока не поздно — самый слабый ветерок мог ее опрокинуть. Они уговаривали его оставить работу — сыновья забросали его деньгами. Но Абба упорно поднимался на рассвете и проводил все время на сапожной скамье. Хотя желтые волосы сильно не меняют своего цвета, борода Аббы стала полностью белой, потом пятнистой и снова желтой. Брови разрослись, как кусты, и спрятали глаза, а высокий лоб стал похож на желтый пергамент. Но он не утратил своего умения. Он мог еще сработать крепкий башмак с широким каблуком, даже если это и занимало намного больше времени, чем раньше. Он сверлил дырки шилом, простегивал иголкой, заколачивал деревянные гвоздики и хриплым голосом напевал старую песню сапожников:

«Купила мама козлика,  
Зарезал шойхет козлика,  
О, Боже мой, козленка!»

Авремеле взял ушки,  
Береле взял легкие,  
Гимпеле взял горлышко,  
Давиделе язычок,  
А Гершеле взял шейку . . .».

И поскольку некому было присоединиться к нему, он подхватывал один вместо хора:

«О Боже мой, козленка!».



Его друзья настаивали, чтобы он нанял работницу, но ему не хотелось вводить чужую женщину в дом. Изредка одна из соседок приходила подмести и стереть пыль, но даже это было для него слишком. Он предпочитал быть один. Он научился сам готовить, варил на треножнике и даже готовил пудинг к Субботе. Больше всего ему нравилось сидеть на скамье и следить за ходом своих мыслей, которые с годами становились все более запутанными. День и ночь он вел с собой беседы. Один голос задавал вопросы, другой отвечал. Умные слова приходили ему в голову, острые выражения, полные старческой мудрости, как если бы его предки снова вернулись к жизни и руководили бесконечными спорами в его голове, относящимися к тому и этому свету. Все эти мысли сбегались к одной теме: что есть жизнь и что есть смерть, что есть время, бегущее так безостановочно, и как далеко Америка? Глаза его закрывались, молоток выпадал из рук; но он продолжал слышать легкое постукивание, характерное для сапожников, — мягкий удар, потом громче, и третий еще громче, — как при починке обуви. Когда кто-нибудь из соседей спрашивал его, почему он не уедет к сыновьям, он указывал на кучу обуви и говорил: «Ну, а это? Кто это починит?».

Годы проходили, и он не мог взять в толк, как и куда они исчезают. Скитающиеся проповедники проходили через Фрамполь и распространяли новости о внешнем мире. В синагоге портных, которую Абба все еще посещал, молодые люди говорили о войне и об антисемитских законах, о евреях, убегающих в Палестину. Крестьяне, которые много лет были его постоянными заказчиками, внезапно предали его и носили свои заказы польским сапожникам. И однажды старик услышал, что новая мировая война неизбежна. Гитлер — да сгинет имя его — поднял легионы своих варваров и угрожал захватить Польшу. Бич Израиля изгнал евреев из Германии, как в свое время из Испании. Старик задумался о Мессии и стал страшно беспокоиться. Кто знает, может, это была битва Гога и Магога? А может, Мессия действительно грядет, и мертвые снова восстанут? Он видел разверстые могилы и выходящих маленьких сапожников — Аббу, Гетцеля, Трайтеля, Гимпеля, его деда, отца. Он звал их всех в дом и подавал наливку и пироги. Его жена Пеша стыдилась, что дом в таком состоянии, но «ничего, — убеждал он ее, — мы пригласим кого-нибудь подмести, поскольку мы теперь все вместе». Но внезапно появились тучи и закрутили весь город Фрамполь — синагогу, школу, ритуальный бассейн, все еврейские дома и среди них его собственный — и потянуло все население в Святую землю. Он воображал свое изумление при неожиданной встрече с сыновьями. Они все пали перед ним на колени, вопя: «Прости нас, отец!».

Когда Абба представлял себе это событие, молоток быстрее мелькал в его руках. Он видел маленьких сапожников, одетых ради Субботы в шелка и сатин, с развевающимися полами плащей и весело идущих в Иерусалим. Они молятся в Храме Соломона, пьют райское вино, едят мясо ядреного быка и Левиафана. Древний Иоханен Сапожник, знаменитый своим благочестием и мудростью, приветствует семью и вовлекает ее в дискуссию о Торе и сапожном деле. Суббота заканчивается, весь клан возвращается во Фрамполь, который стал частью земли Израиля, и снова входит в старый дом. Хотя дом так же мал, как и всегда, но он чудесным образом разросся, как шкура у оленя, о чем написано в Книге. Они все работают на одной скамье — Аббы, Гимпели, Гедели, Трайтели и Мишели, выделывая золотые сандалии для дочерей Сиона и благородную обувь для сыновей. Сам Мессия присылает за маленькими сапожниками и просит их снять мерку для шелковых шлепанцев.

Однажды утром, когда Абба блуждал в своих мыслях, он услышал чудовищный грохот. Все кости внутри старика содрогнулись: гром трубы Мессии! Он бросил башмак, над которым работал, и вышел в большом волне-

нии. Но это не был Илия-Пророк, возвещающий Мессию. Нацистские самолеты бомбили Фрамполь. Паника охватила город. Одна бомба упала возле синагоги с таким грохотом, что Абба почувствовал, как содрогнулись мозги в голове. Ад разверзся перед ним. За взрывом последовала вспышка, осветившая весь Фрамполь. Черное облако поднялось над двором синагоги. Стаи птиц хлопали в небе. Лес горел. Глядя вниз со своего холма, Абба видел фруктовые сады в густых облаках дыма. Яблони цвели и горели. Несколько человек, стоящих рядом, бросились на землю и кричали, чтобы он сделал то же самое. Он не слышал их; их губы двигались бесшумно. Трясущийся от испуга, со стучащими коленками, он вошел в дом, взял мешок, положил туда молитвенную шаль, филактерии, рубашку, сапожные инструменты, бумажные деньги, которые он складывал в соломенный матрас. Затем взял палку, поцеловал мезузу и вышел за дверь. Это было чудо, что его не убило: дом загорелся в тот момент, когда он выходил. Крыша завалилась и накрыла чердак с его сокровищами. Стены рухнули. Абба обернулся и увидел ящик со священными книгами, весь в пламени. Почерневшие страницы переворачивались в воздухе, пылая огненными буквами, подобно Торе, данной евреям на горе Синай.

## V

### Через Океан

С этого дня жизнь Аббы изменилась до неузнаваемости — это было подобно истории, которую он читал в Библии, или волшебной сказке, слышанной им от странствующего проповедника. Он покинул дом своих предков и место своего рождения и с посохом в руке ушел в мир, как Патриарх Авраам. Опустошения во Фрамполе и соседних деревнях вызвали в памяти Содом и Гоморру, пылающих как геенна огненная. Он проводил ночи на кладбище вместе с другими евреями, положив голову на могильный камень — так же, как Яков в Вефеме по дороге из Беер-Шева в Харран.

На Рош Гашоне фрампольские евреи справляли богослужение в лесу, где Абба вел торжественную молитву Восемнадцати Благословений, поскольку у него единственного сохранилось молитвенное покрывало. Он стоял под сосной, служившей алтарем, и хриплым голосом пел скорбные Плачи Дней Покаяния. Кукушка и дятел аккомпанировали ему, и все птицы вокруг чирикали, свистели и кричали. Паутина бабьего лета носилась в воздухе и заплывала в бороду Аббы. Время от времени в лесу слышалось мычание, подобно шуму бараньего рога. Поскольку День Искупления (Ен-Кипур) приблизился, евреи Фрамполя поднялись среди ночи, чтобы воздать молитву прощения, читая ее в отрывках, которые могли вспомнить. Лошади на окрестных пастбищах жалобно и громко ржали, лягушки квакали в прохладной ночи. Далекие выстрелы слышались в промежутке, отсвечивая красным. Валились метеоры; всполохи света играли в небе. Страдающие без воды дети, обессилевшие от крика, слабели и умирали на руках у матерей. Много могил появилось в открытом поле. Женщины рожали.

Абба чувствовал себя пра-пра-праотцом, имя которого сохранилось в анналах Фрамполя, избежавшего погромов Хмельницкого, и был готов принести себя в жертву в освящение имени Бога. Он воображал священников и инквизицию, и когда ветер шумел в ветвях, он слышал умирающих евреев, взывающих: «Слушай, Израиль. Господь наш Бог, Господь Един».

По счастью, Абба мог помогать многим евреям деньгами и своим ремеслом. За деньги они наняли вагоны и бежали на юг, к Румынии; но часто им приходилось идти пешком, и обувь их изнашивалась. Абба останавливался под деревом и вытаскивал свои инструменты.

С Божьей помощью люди избежали опасности и ночью перешли румынскую границу. На следующее утро, накануне Ен-Кипура, старуха вдова привела Аббу в свой дом. Сыновьям Аббы была послана телеграмма в Америку, сообщающая им, что их отец жив.

Можете быть уверены, что сыновья Аббы перевернули небо и землю, чтобы спасти старика. Когда они узнали, где он, они помчались в Вашингтон и с огромными трудностями достали для него визу; затем они переслали необходимую сумму денег консулу в Бухаресте, умоляя его помочь их отцу. Консул послал к Аббе курьера, который посадил его на поезд в Бухарест. Здесь Абба задержался на неделю, затем его переправили в итальянский порт, где его остригли, продезинфицировали, а одежду прокипятили. Его посадили на борт последнего корабля, отплывающего в Америку.

Это было долгое и тяжелое путешествие. Поезд из Румынии в Италию полз вверх и вниз 36 часов. Аббе давали еду, но из страха коснуться чего-нибудь нечистого он не ел вообще. Его филатерии и молитвенное покрывало пропали, и с ними он потерял все представления о времени и не мог больше отличить субботы от других дней недели. Очевидно, он был единственным евреем на борту. На корабле был человек, говоривший по-немецки, но Абба не мог его понять.

Это был штормовой путь. Абба провел почти все время лежа и часто блевал желчью, хотя не ел ничего, кроме сухой корки и воды. Он дремал и просыпался от звука двигателя, сильно стучащего день и ночь, и от длительного угрожающего звука взрывов, которые отдавали запахом огня и серы. Дверь его каюты постоянно хлопала туда и сюда, как если бы на ней качался чертенок. Стеклянная посуда в буфете тряслась и плясала; борта содрогались, палуба качалась, как люлька. Целыми днями Абба смотрел в иллюминатор со своей койки. Корабль вздыбливался, как бы желая подняться на небо, а перевернутое небо валилось, как будто мир возвращался к первоначальному хаосу. Затем корабль снова погружался в океан, и снова небесный свод отделялся от воды, как в Книге Бытия. Волны были зелено-вато-черные и желтые. Теперь они зубчатой пилой вздымались к горизонту, подобно гряде гор, напоминая Аббе слова из Псалма: «Горы прыгали как бараны, а холмы как ягнята». Затем они всей массой возвращались назад, как в сверхъестественном разделении вод. Абба был малообразован, но библейские сюжеты приходили ему на ум, и он видел себя Пророком Ионой, который бежал от Бога. Он так же был во чреве кита и так же, подобно Ионе, молился об освобождении. Затем ему казалось, что это был не океан, но бесконечная пустыня, кишашая змеями, монстрами и драконами, как об этом сказано во Второзаконии. Он не спал ночью ни минутки. Когда он поднимался, чтобы помочиться, он ощущал слабость и терял равновесие. С огромным трудом он вставал на ноги, колени его подгибались, он шел, не разбирая пути, теряясь в узком сквозном коридоре, пока какой-нибудь моряк не отводил его обратно в каюту. Когда это происходило, ему казалось, что он умирает. У него не будет даже благопристойных еврейских похорон — его просто сбросят в море. И он исповедовался, стуча сжатым кулаком себя в грудь и вскрикивая: «Прости меня, Отец».

Поскольку он не знал, когда началось его путешествие, он и не знал, когда оно закончится. Корабль уже быстро входил к причалу Нью-Йоркского порта, но Абба не имел об этом ни малейшего представления. Он видел огромные здания и башни, но принимал их за египетские пирамиды. Высокий человек в белом костюме вошел в каюту и что-то закричал ему, но он остался безучастным. Наконец люди помогли ему одеться и вывели на палубу, где его сыновья, невестки и внуки уже дожидались. Абба был поражен: толпа польских магнатов и грандов, графов и графинь, благородных мальчиков и девочек повисла на нем, кричала на стран-

ном языке, который был еврейским и не еврейским. Они наполовину повели, наполовину понесли его и усадили в машину. Подошли другие машины, наполненные его родственниками, и они отправились со скоростью летящих стрел над мостами, реками и крышами. Дома надвигались и отступали, как по волшебству, некоторые из домов достигали неба. Весь город лежал, распростершись перед ним; Абба подумал о Пифоме и Рамзесе. Автомобиль мчался так быстро, что ему казалось, будто люди движутся в обратную сторону. Воздух был наполнен громом и светом, ударами и трубными звуками; это была одновременно и свадьба и огромный пожар. Народы одичали. Праздник язычников.

Сыновья столпились вокруг него. Он видел их как в тумане и не узнавал их. Маленькие люди с белыми волосами. Они орали ему, как глухому:

«Я Гимпель»,

«Гетцель»,

«Файвел».

Старик закрыл глаза и не отвечал. Их голоса слились; все стало вперемежку и вверх дном. Внезапно он подумал о Якове, прибывающем в Египет, где его встречали колесницы Фараона. Он почувствовал, что уже пережил этот опыт в прошлом воплоти. Борода его затряслась, хриплые рыдания сотрясли грудь. Забытый отрывок из Библии застрял у него в горле. Вслепую он обнял одного из своих сыновей и вскрикнул: «Это ты? Живо?».

Он хотел сказать: «Теперь дайте мне умереть, поскольку я увидел твое лицо и поскольку ты жив».

## VI

### Американское наследство

Сыновья Аббы жили на окраине города Нью-Джерси. Семь их домов, окруженных садами, стояли на берегу озера. Каждый день они уезжали к обувной фабрике, принадлежавшей Гимпелю, но в день приезда Аббы они взяли выходной и приготовили праздник в его честь. Он должен был состояться в доме Гимпеля в полном соответствии с кошерными правилами. Жена Гимпеля, чей отец был учителем иврита в Старом Свете, помнила все ритуалы и соблюла их тщательно, зайдя так далеко, что даже покрыла голову косынкой. Ее золовки сделали то же самое, а сыновья Аббы надели ермолки, которые они надевали только раз в год, во время праздников Святых Дней. Внуки и правнуки, не знавшие ни слова на идиш, специально выучили несколько фраз. Они слышали легенды о Фрамполе, и о маленьких сапожниках, и о первом Аббе семейного клана. Даже соседи-язычники были достаточно осведомлены об этой истории. Вдобавок ко всему Гимпель напечатал в газетах, что его семья принадлежит к сапожной аристократии:

«Наш трехсотлетний опыт берет свое начало в польском городе Броды, где наш предок Абба перенял свою профессию от местного мастера. Община во Фрамполе, в которой наша семья работала по этой специальности в течение 15 поколений, признавая его добросовестный труд, присвоила ему титул Мастера. Эти качества шли рука об руку с преданностью высшим принципам нашего ремесла, открытым характером и честным отношением к нашим заказчикам».

В день приезда Аббы газеты сообщили как интересную новость, что семь сыновей знаменитой обувной компании встречали своего отца из Польши. Гимпель получил массу поздравительных телеграмм от конкурентов, родственников и друзей.

Это было необычное празднество. Три стола были расставлены в столовой у Гимпеля: один для старика, его сыновей и невесток, другой — для внуков и третий — для правнуков. Хотя день был в полном разгаре, столы

были уставлены свечами — красными, голубыми, желтыми, зелеными, и их пламя отражалось от блюд и серебра, граненого стекла и рюмок; графины напоминали о Пасхальном Седере. Везде всего было огромное количество. Нет сомнения, что невестки предпочли бы видеть Аббу подходяще одетым к этому случаю, но Гимпель надел длинное, до полу одеяние, а Аббе позволили провести свой первый день в обычном длинном плаще фрампольского стиля. Гимпель даже нанял фотографа сделать снимки на этом торжестве (для публикации в газетах) и пригласил рабби и кантора, чтобы почтить старика традиционной песней.

Абба сидел в кресле во главе стола. Гимпель и Гетцель внесли кувшины и полили ему на руки для благословения перед едой. Еда подавалась на серебряных подносах, которые вносили цветные женщины. Все виды фруктов, соков и салатов были выставлены перед стариком, сладкие бренди, коньяки, икра. Но Фараон, Иосиф, жена Потифара, земля Гошен, главный пекарь, главный дворецкий мешались и мешались в его голове. Его руки тряслись так, что он не мог сам есть, и Гимпелю пришлось помогать ему. Сколько бы сыновья к нему ни обращались, он все еще не мог им отвечать. Как только начинал звонить телефон, он вскакивал — нацисты бомбят Фрамполь. Весь дом кружился и кружился, как карусель; столы стояли на потолке, и все было вниз головой. Его лицо стало болезненно-бледным в свете свечей и электрических лампочек. Он уснул тут же за столом сразу после супа, когда подавали цыплят. Его быстро перенесли в спальню, раздели и вызвали доктора.

Он провел несколько недель в постели, то приходя в себя, то опять впадая в беспмятство, временами в дремоту, как при лихорадке. У него даже не было сил прочитать молитву. Возле его кровати день и ночь была сиделка. Судя по всему, он уже достаточно пришел в себя, чтобы сделать несколько шагов возле дома, но рассудок его все еще был в беспорядке. Он заходил в темные комнаты, закрывался в ванной и забывал, как открыть ее; дверные звонки и радио пугали его; он постоянно страдал от беспокойства, причиняемого автомобилями, пролетающими возле дома. Однажды Гимпель привел его в синагогу, стоящую в 10 милях, но даже здесь он дичился. Секстон был гладко выбрит, в канделябры были вставлены электрические лампочки, не было двора, не было деревянного крана для омовения рук. Не было рядом обычной печи. Кантор, которому следовало петь, как обычному кантору, что-то бормотал и кричал. Молящиеся надевали крошечные и узкие молитвенные пояса, подобно галстукам на шее. Абба был уверен, что его привезли в церковь, чтобы обратиться...

Когда пришла весна и ему не стало лучше, невестки стали намекать, что было бы неплохо определить его в богадельню. Но тут произошло нечто непредсказуемое. Однажды, когда он в очередной раз открыл темную комнату, то заметил лежащий на полу мешок, который показался ему чем-то знакомым. Он еще раз посмотрел на него и обнаружил, что это его сапожные принадлежности из Фрамполя: колодка, молоток и иголки, его нож и плоскогубцы, напильники, шило и даже разбитый ботинок. Абба почувствовал дрожь возбуждения; он едва верил своим глазам. Он сел на низенькую скамеечку и начал все ощупывать пальцами, ставшими неуклюжими и узловатыми. Когда Беся вошла и увидела его забавляющимся старым грязным башмаком, она рассмеялась:

«Что вы делаете, папа? Будьте осторожны. Вы порежетесь, не дай Бог!».

В этот день Абба не лежал, подремывая, в постели. Он непрерывно работал до самого вечера и даже ел свой обычный кусок цыпленка с большим аппетитом. Он улыбался своим внукам, которые пришли посмотреть, что он делает. На следующее утро, когда Гимпель рассказал своим братьям о том, что их отец вернулся к своим старым привычкам, они посмеялись и больше

об этом не думали — но скоро стало очевидно, что это было для старика спасением. Он корпел день за днем, не зная усталости, охотясь за старыми башмаками по всему дому, и просил сыновей обеспечить его кожей и инструментами. Когда они исполнили его просьбу, он отремонтировал всю обувь до последней пары — мужскую, женскую и детскую. После Пасхальных дней братья собрались вместе и решили построить во дворе маленький домик. Они приладили там сапожный верстак, натаскали ворох кожаных подошв, кусков кожи, иголок, красителей, щеток — всего, что хоть каким-то образом могло бы пригодиться в его ремесле.

Абба возродился к новой жизни. Его невестки кричали, что он выглядит на пятнадцать лет моложе. Как и во фрампольские дни, он теперь подымался на рассвете, читал свои молитвы и сразу принимался за работу. Снова он пользовался веревочкой с узелками для снятия мерок. Первая пара обуви, которую он сделал для Беси, стала предметом разговоров соседей. Она всегда жаловалась на свои ноги, но эта пара, уверяла она, была самой удобной из всех, которые она когда-либо носила. Вскоре другие женщины последовали ее примеру и тоже обеспечили себя. Затем пришли внуки. Даже некоторые из богатых соседей пришли к Аббе, когда услышали, как он радостью своего труда превзошел сделанную обычным способом обувь. Ему приходилось общаться с ними большей частью жестами, но они отлично понимали друг друга. Что касается младших внуков и правнуков, то у них уже давно стало привычкой стоять возле двери и смотреть, как он работает. Теперь он зарабатывал деньги и одаривал их сластями и игрушками. Он даже очинил карандаши и начал обучать их начаткам иврита и благочестия.

В одно воскресенье Гимпель вошел в мастерскую, полушутя засучил рукава и сел на скамейку к Аббе. Другие братья не остались в стороне. И в следующее воскресенье восемь рабочих скамеек стояло в домике. Сыновья Аббы постелили себе на колени мешковину и начали работать, нарезая подошвы, обтачивая каблуки, прокалывая дырочки и забивая деревянные гвоздики, как в старое доброе время. Женщины стояли снаружи, посмеивались, но они гордились своими мужчинами, а дети были просто заморожены. Солнце втекало в окна, и пыль плясала в его свете. В высоком весеннем небе плыла облака над травой и водой, принимая форму венников, кораблей, стад овец, слонов. Птицы пели; мухи жужжали; бабочки порхали кругом.

Абба поднимал густую бровь, и его грустные глаза осматривали свое наследство — семерых сапожников: Гимпеля, Гетцеля, Трайтея, Геделя, Файвела, Липше и Анания. Их волосы побелели, хотя желтые пряди остались. Нет, хвала Господу, они не стали идолопоклонниками в Египте. Они не забыли своего наследства, и они не потеряли себя среди недостойных. В груди старика что-то хрипело и всхлипывало, и внезапно он начинал петь сдавленным, хриплым голосом:

«У мамы было,  
Да, да, да,  
О Боже, десять малышей!»

Шестого звали Велвеле,  
Седьмого звали Цинвеле,  
Восьмого звали Хенеле,  
Девятого звали Тевеле,  
Десятого звали Юделе...».

И сыновья Аббы подхватывали хором:  
«О, Боже мой, Юделе!».

Перевод ВЛАДИМИРА АЙЗЕНШТАДА

# ВИКТОР КУЧЕРЯВИН

Когда мне боль свой зной подарит,  
И разбредётся, кто куда, теряя власти,  
Останется и мне, словно разинутой гитаре,  
С разинутой лежать от изумленья пастью.  
И я молчал, как бы родил какой-нибудь планеты,  
И лишь дышал и слушал сердце: бьётся.  
И будто космос не сказал тревожно: «нету»,  
Из черепа далёкого колодца.  
И вот он прыгнул, закричал — я снился,  
И будто члены стали лёгкою тряпичей,  
И над мозгами плыли, собираясь, числа,  
То на моря похожие, а то на птицы.

Рассеяв глаз по снежному простору,  
Где нет убежища ни ветру и ни вору,  
Держа во рту горящу папиросу,  
Казался я себе в степи гиганта ростом,  
И чувствовал, что эта славна даль  
В груди моей сияет, как медаль.  
В окно гляжу — оно тихонько дышит,  
И облака бегут, и в переулки крыши,  
И мыши в потолке шуршат и шевелятся,  
И тени быстрые, как сны, ложатся,  
И стенка надвигается — во сне зову ребят!  
Оттуда, из портретов, вырос мёртвый сад.  
О, гордые! С побритыми глазами,  
О! Скользкие! Глядят ко мне тузами,  
Расположась в своей партийной раме,  
По всей стране прошли, точно цунами!  
Я, как пальто, повешусь — и то непохож  
На эту выставку, как дыры, черных рож.

Шагаю ль под звёздами ночью с работы,  
Бревно ли стругаю, как будто в бреду,  
В душе точно ходят весёлые сваты,  
И пляшет деревня в зелёном саду.  
Вот тётка навстречу в своей телогрейке  
Мне вдруг улыбнётся — погасли светила!  
И голосом чистым, как канарейка,  
Приветствует тихо меня, крокодила,  
Который пока ещё тих и прекрасен,  
Но чуть позабудешься — щёлкнет зубами,  
Как некогда на буржуазию Красин,  
Ей всюду грозивший наганом с гробами.

Как сверкает сознание цыганкой иль майским дождём,  
И гвоздями в душе вырастают чужие заводы,  
Я пришёл и, совсем не смеясь, произнёс: «уберите  
цветами мой дом,  
Где давно пробежали, как резвые кролики, годы».

Прочитав, расписался, и вот — хорошо! Без зубов  
Генерал, распустивши свой полк, по казарме кружится!  
Не пред ним вырастает приказов, как сморщенных лбов,  
Но какая-то дева в очах без сознания снится.

## С ОЖОГОМ

Ах, койка! Какой недоброй судьбой  
К тебе я опять без верёвки привязан!  
Лучше б мне, например, опускаться в забой,  
Где взрываются часто попутные газы.  
Но здесь, где трещит за окном мотоцикл,  
И, снесши яйцо, закудахтали куры,  
Лежал я и зубом, как перепел, цыкал,  
Небритый, седой и достаточно хмурый,  
Мол, юная девушка мне не придёт  
На край посидеть слегка ржавой кровати,  
Варенье к губам моим не поднесёт,  
Подушку и ту не поправит на вате,  
Которая блином лежит подо мной,  
И на потолке проползает мокрица  
В каком-то старинном и чёрном кино  
В тюрьме умирает похоже актриса!  
Но я не умру. Распрямится спина,  
И ногу покроет мне новая кожа,  
И разглядится вновь моя старая рожа,  
И вздохнёт облегчённо родная страна.

## ПРОСТРЕЛ В СТЕПИ

Когда болит прострел радикулита,  
И далеко берёзы голые, как дамы,  
Мне каждый шаг — как бы разряд электролита,  
И вспышкой в глазах озарены коровники и домы.  
А по степи гуляет ветер-сволочь  
И прыгает в лицо зубастой собакой.  
Прохожий на дороге скажет «здрасьте»  
С лицом веселым на ветру, как драка,  
Ни трактор не подбросит к дому, ни телега,  
И мать сыра земля к себе всё ниже тянет,  
Сто метров мне осталось до ночлега,  
Но дрогнуло в спине, и дом качается и тонет.

Затылком лёжа на подушке  
И в потолок уставя очи,  
Я вспоминаю о подружке,  
Хотя она меня, я думаю, не очень.  
Она так далеко, что ходит ковылём  
В степи груди израненное сердце,  
В Плёсо-Кургане не снимешь рядом трубку, мол, «алё»  
И не покашляешь в неё, как на Россию Герцен.  
Итак, я здесь, в кровати, а вот ты теперь?  
Идёшь ли с кем в кино? Зашла, надеюсь, в магазины?  
Но нет, ты не откроешь скрипящую мне дверь,  
За тысячи км ты там, где продают всю зиму апельсины.

## НОГА

Когда радикулит гуляет по спине,  
Как по стране какой-нибудь Будённый,  
То накануне обожжённая нога  
Болит как будто далеко, там где-то в поле за деревней.  
Она лежит, распухшая мокрица,  
Иль раненый душман в своей повязке грязной,  
А ей словно цветут сады и песни где-то снятся,  
И говорят, звезда с звездой, звёзды.  
И вот она идёт, прекрасная и гордо,  
И ей, раскрывши рот, внимают горы, травы,  
А я лежу себе в кровати твёрдой  
Какой-то праздной и орущею оравой.

Разгромленной толпой лежал я на постели,  
Куда бежал ударами и болью,  
И кто-то мне вокруг лицом махая, извинялся,  
И щёки трепыхались, будто крылья моли.  
И свернутый письмом в каком-нибудь конверте,  
И с запахом, могущим стать идеей,  
Я словно получал привет от смерти,  
Когда больной ногой я был везде.  
И вот схватил руками тёмными мне человека,  
Но оказалось это с буквами листок,  
И снова я и праздный, и почти калека  
Лежу, или как застывающий поток.

О белый свет ноги, охваченной пожаром!  
Сияешь предо мной, доставшись даром!  
Я просыпаюсь, глядя тёмными глазами,  
А боль стоит как бы у тумбочки в казарме  
С кинжалом острым, и бессонна и красива,  
А я пред ней лежу как бы Россия.

## В ОМСКОМ АЭРОПОРТУ

Гудит какая-то, как дрянь, во тьме,  
Дежурная в углу чуть слышно дремлет,  
И я с полумедлительной отвагой,  
Зевая, заносу куда-то в тьму и чьи-то буквы,  
Как в грязном поле на уборке брюквы.  
Я рукопашною работой молча занят,  
А длинный коридор передо мной бежит прыжками свата,  
Как будто шлейф несёт мне белый света.  
А там, внизу военные на лестнице стоят,  
Дымит во рту чужим заводом сигарета,  
Земля лица вокруг решительно побрита  
И выражает беглую мне скуку  
И не протянет мужественную руку.  
А так, кроме глухих за дверью разговоров  
И шорохов, по-видимому, случайных,  
Царит, подобно царь, приятная мне тишь,  
Лишь далеко, за стёклами окна, взлетает осторожно  
самолёт, как мышь.

«Куст каких-то ядовитых роз я взрастил поэзии на смену», — так подытожил свой литературный опыт Юрий Павлович Одарченко (1903—1960). Поэт-эмигрант, почти всю жизнь проживший во Франции, Юрий Одарченко до сих пор неизвестен в СССР. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что и на Западе при жизни поэта к его голосу мало прислушивались. Он чурался всяческих «писательских сообществ», был далек от «литературных войн» и был услышан и распознан как большой поэт лишь в узком кругу друзей и единомышленников. Писать Одарченко начал сравнительно поздно, печататься скупом — единственная его прижизненная книжка, небольшой сборник стихотворений «Денек», вышла в 1949 г. в Париже тиражом в 300 экземпляров. Более тридцати лет прошло со дня смерти поэта, прежде чем стараниями его друзей (прежде всего К. Д. Померанцева) был составлен свод его стихов и прозы, вышедший в издательстве «La Presse Libre». Им мы и воспользовались при составлении настоящей публикации — первой на родине поэта.

Корни поэтической родословной Одарченко легче всего отыскать в поэтике русского абсурдизма. Незаконнорожденный потомок обэриутов (о существовании которых Одарченко, должно быть, и не подозревал), он соединил в своем творчестве парадоксализм «инфантильного» мировосприятия, свойственный героям Хармса, и «последнюю прямоту», высказанную Ходасевичем в «Европейской ночи» и Георгием Ивановым в «Распаде атома».

Читателям в СССР небезынтересно будет узнать, что даже такой нечуткий ко всякого рода «экспериментам» человек, как А. Т. Твардовский, восторженно отзывался о поэзии Одарченко. Да, бесспорно, есть в негромком голосе поэта некая завораживающая, магическая интонация, секрет которой сам Ю. Одарченко определил так: «Я расставлю слова//в наилучшем и строгом порядке —//это будут слова,//от которых бегут без оглядки».

Предисловие и публикация **ДМИТРИЯ ВОЛЧЕКА**

# ЮРИЙ ОДАРЧЕНКО

## СТИХИ В АЛЬБОМ

Бом, бом, бом . . .  
Вам стихи в альбом  
Пишут Бим и Бом,  
Оба сразу вместе,  
Женихи невесте.  
Бим, бим, бим . . .  
Бим написал:  
«Нам этой жизни мало» . . .  
А Бом сказал:  
«Достаточно трех дней».  
А женщина привычно и устало  
Копировала белых лебедей.  
И муж ее, в блаженстве цепenea,  
Был в совести своей ничем не уязвим,  
Мерещилась развратная Помпея . . .  
«Пиши-ка ты», сказал стыдливый Бим.  
И видит Бом: пылающая лава  
(Под ней скрывается покорная земля)  
Кипя течет, как сладкая отравa,  
От стен упрямого, безумного Кремля.  
В набат колокола трезвонят:  
И бим и бом, и бим и бом . . .  
Что это, старый мир хоронят? —  
Нет, это вам стихи в альбом.

Стоит на улице бедняк,  
И это очень стыдно.  
Я подаю ему медяк,  
И это тоже стыдно.  
Фонарь на улице горит,  
Но ничего не видно.  
На небе солнышко стоит,  
И все-таки не видно.  
Я плюнул в шапку бедняку,  
А денежки растратил.  
Наверно стыдно бедняку,  
А мне — с какой же стати?  
Фонарь на улице потух,  
И стало посветлее,  
А пропоет второй петух —  
В могилу поскорее.  
Над ней стоит дубовый крест,  
И это очень ясно:  
В сырой земле так много мест,  
И это так прекрасно!

Что такое — денег нет? —  
Отыщу знакомых,  
А знакомых дома нет —  
Это будет промах.

Промахнулся — не беда,  
Съем в кредит и сытно,  
Не поверят, вот тогда  
Это будет стыдно.

Если ж вовсе не дадут  
Мне без денег блюда,  
Я с ума ведь не сойду  
На пустой желудок.

Будет легче рассуждать  
О судьбе народа . . .  
Вот попробую догнать  
Вон того урода.

Подает он мелочь мне  
Жестом очень важным . . .  
«Я убил его во сне» —  
Говорю присяжным.

### ПЕСНЬ О СЕВЕРНОМ СУДАКЕ

В каком-то доме был чердак,  
Где умер северный судак.  
Двоюродные братья и даже просто братья!

На песчаном откосе лежит судак.  
Это не выдумка — это так!  
Не на серебряном подносе,  
А на песчаном откосе.

Лежит он смирно на боку,  
Теперь не нужны судаку  
Двоюродные братья и даже просто братья —  
Судак в Божественных объятьях.  
Он умер, не убит,  
И чешуя его блестит,  
И ангелы на чердаке  
Поют о мертвом судаке.

Мальчик катит по дорожке  
Легкое серсо.  
В беленьких чулочках ножки,  
Легкое серсо.  
Солнце сквозь листву густую  
Золотит песок,  
И бросает тень большую  
Кто-то на песок.  
Мальчик смотрит улыбаясь:  
Ворон на суку,  
А под ним висит качаясь  
Кто-то на суку.

## ЧИСТЫЙ СЕРДЦЕМ

По канату слоник идет —  
Хобот кверху, топорщатся уши.  
По канату слоник вперед  
Сквозь моря продвигается к суше.

Как такому тяжелому Бог  
Позволяет ходить по канату?  
Тумбы три вместо маленьких ног,  
А четвертая кажется пятой.

Вдруг в пучину сияющих вод,  
Оступившись, скользнет осторожный?  
Продвигается слоник вперед,  
Продолжая свой путь невозможный.

Если так, то подрежем канат,  
Обманув справедливого Бога.  
Бог почил, и архангелы спят . . .  
«Ах, мой слоник! . . .» — туда и дорога!

Все на небе так сладостно спит,  
А за слоника кто же осудит?!  
Только сердце твердит и твердит,  
Что второе пришествие будет.

\* \* \*  
«Весь день стоит как бы хрустальный»,  
Я вижу ясно этот день,  
Деревьев стройных очертанья  
И веток кружевную тень.

Иду тропкою тихим шагом  
И вдруг, с кулак величиной,  
Каким-то бешеным зигзагом  
Взлетает муха предо мной.

В хрусталь из душного застенка  
Жужжа врывается она.  
Зловещим натрия оттенком  
Сверкает синяя спина.

И трупного удушье духа  
Всемирную колышет жуть . . .  
Огромная слепая муха  
В разъятую влетает грудь.

\* \* \*  
Есть совершенные картинки:  
Шнурок порвался на ботинке,  
Когда жена в театр спешит  
И мужа злобно тормозит.

Когда усердно мать хлопочет:  
Одеть теплей сыночка хочет,  
Чтоб мальчик грудь не застудил,  
А мальчик в прорубь угодил.

Когда скопил бедняк убогий  
На металлических ноги,  
И снова бодро зашагал,  
И под трамвай опять попал.

Когда в стремительной ракете  
Решив края покинуть эти  
Я расшибу о стенку лоб,  
Поняв, что мир — закрытый гроб.

На Красной площади, на плахе  
Сидит веселый воробей,  
И видит, как прохожий, в страхе,  
Снимает шапку перед ней.

Как дико крестится старуха,  
Глазами в сторону кося,  
Как почесал за левым ухом  
Злодей, добычу унося.

И с высоты своей взирая  
На этих суетных людей,  
Щебечет, солнце прославляя,  
на плахе сидя, воробей.

\* \* \*  
В бистро французской деревушки  
Смотрю в стеклянную дыру.  
Слезу как бродят две телушки  
По изумрудному ковру.

Душа уснула в мудром теле,  
Мне ум совсем ни для чего.  
Что надо мне на самом деле?  
По совести — да ничего.

Слились кошмары Скотланд-Ярда  
С журчанием осенних струй;  
И всплеск шара на дне бильярда  
Похож на детский поцелуй.

\* \* \*  
На самом дне в зеленом жбане  
В перелицованном зупане,  
Не говоря ни да ни нет  
Сидит подстриженный поэт.

Над ним плывут по небу тучки,  
Но он сложил спокойно ручки  
И прикусил себе язык,  
Сказав, что к этому привык.

И лебеди в порочном страхе,  
И дева в ситцевой рубахе,  
И розы, звезды, соловей,  
И с ними Дядька Чародей

Бегут в неистовом испуге  
К уравновешенной супруге  
Сказать, что стриженный поэт  
Не говорит ни да ни нет.

\* \* \*  
Стоят в аптеке два шара:  
Оранжевый и синий.  
Стоит на улице жара  
И люди в парусине.

Вхожу в аптеку и шары  
Конечно разбиваю,  
В участке нет такой жары,  
А цвет сейчас узнаю.

Горит оранжевый рассвет  
На синей пелерине.  
Отлично выпался поэт  
На каменной перине.



# ВЛАДИМИР СОРОКИН

---

## ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Сергей ступил на еле заметную узкую тропинку, ползущую через болото, но Кузьма Егорыч предупредительно остановил его за плечо:

— Нет, Сереж, тут нам не пройтись.

— Почему? — повернулся к нему Сергей.

Егерь неторопливо ответил, отгоняя от лица слепня:

— Завчера ливень лил, нынче трясина вспухла. Там возле Панинской низины тебе по пояс будет, а мне по грудь. Так что давай обходом.

— Через лесосеки?

— На што! Версту с гаком лишку-то. Черным большаком ближей.

— Пошли, что ж. Тебе виднее, — проговорил Сергей, поворачивая.

— Эй, точно, — слабо засмеялся егерь, поправляя ползущий на глаза треух, — мне тут все насквозь видно. Пятьдесят годков топчусь здесь.

— Наверно, каждое дерево знаешь.

— Знаю, милый, знаю... — вздохнул егерь и зашагал впереди Сергея.

Разросшийся возле болота кустарник скоро кончился, сменившись молодым березняком.

Тут было суше, желтая перестоявшая трава доходила до пояса, мягко хрустела под ногами.

Егерь закурил на ходу, за его сутулой ватной спиной потянулся сладковатый голубой дымок.

Сергей полез в карман, вытащил пустую пачку «Явы», скомкал и швырнул в траву. Легкий ветерок шелестел березовой листвой, покачивал травяные метелки.

Сергей на ходу сорвал травинку, сунул в рот и оглянулся. Над оставшимся позади болотом стоял легкий туман, два коршуна, попискивая, кружили в желто-розовой дымке.

После того, как кончился березняк, Кузьма Егорыч стал забирать правее. Пересекли небольшой лог, обогнули гряду вросших в землю валунов и вошли в ельник.

Сергей вытащил изо рта травинку и метнул в молоденькую елочку. Травинка скрылась меж молочно-зеленых лап. Дорога расширилась и почернела.

Егерь повернулся к Сергею, поправил сползающий с плеча ружейный ремень:

— А ты тут не ходил никогда?

— Нет, Егорыч. Не был ни разу.

— Глухое место... — егерь зашагал с ним рядом, глядя под ноги.

— Елки хорошие. Стройные. И частый ельник какой, — пробормотал Сергей, оглядываясь. — Наверно, глухарей много, рябчиков...

— Глухари были, точно. Болото, ягода опять же рядом, вот и жили. А после повывелись что-то. И не уразумею, отчего. А рябцов полно. На манок как табун — летят и все. Только бей.

— А отчего глухари вывелись? — спросил Сергей.

— Вот уж не знаю, — сощурился егерь, потирая бо-роду. — Не знаю. Вроде быть-то некому, да и место глухое. Знаю только, что глухарь, он ведь капризен очень. Осторожен. Рябец да тетерев — тем хоть трава не расти. Где угодно жить будут. А этот другой...

Сергей посмотрел вверх.

Высокие ели смыкались над головой, солнце слабо просвечивало сквозь них. Земля под ногами была мягкой и сухой.

— Егорыч, а что, кроме Коробки других деревень тут не было?

Егерь покачал головой:

— Как не было! Три деревни были. Две маленькие, как хутора, и одна домов на сорок.

— А сейчас что ж?

— Да поразъехались все, старики умерли. А молодежь в город тянет. Вот и стоят избы заколоченные. Преют.

— Далеко отсюда?

— Верст пять одна, а хутора подале.

— Да... Надо б сходить посмотреть.

— А чего. Пойдем как-нибудь. Посмотришь, как крапива сквозь окна растет!

Сергей покачал головой, поправил ружье:

— Плохо это.

— Еще бы. Чего ж хорошего. Тошно смотреть на дома-то на эти. Такие срубы ровные, еловые все. Впору вывезти, ей-богу...

— А что, разве и вывезти некому?

Егерь махнул рукой:

— Аааа... Никто возиться не хочет. Обленился народ...

— Ну это ты зря. Вон сегодня на лесопильне как ваши вкалывали.

— Да рази ж так вкалывают? — удивился Кузьма Егорыч.

— А что, по-твоему, плохо работали?

Егерь опять махнул рукой:

— Так не работают. Мы до войны разве так работали? Часы считали? Да мы из лесу не выходили, свое хозяйство, бывало, забросишь, жена покойная ругмя ругает — сенокос, а мы — то перечет, то шишки, то посадка! Косишь последним, когда уж все убралось да чай пьют.

Сергей, улыбаясь, посмотрел на него.

Егерь широко шагал, разводя перед собой узловатыми руками:

— А в войну? Если б раньше мужики узнали, что в пяти верстах десять срубов никому не годных стоят, да их на следующий день бы разобрали! А шас — гниют себе и все... тошно глядеть... — Он замолчал, поправил треух.

Ельник стал редеть, лучи солнца, пробившись сквозь хвою, упали на дорогу, заскользили по сероватым стволам.

— Шас повернем, и тут рядом совсем, — махнул рукой егерь. Свернули, пошли по заросшей кустарником тропке. Впереди вдруг послышался шум, захлопали тяжелые крылья, и меж стволов замелькали разлетающиеся глухари.

Егерь остановился, провожая их глазами:

— Вот они. Выводок... не вывелись, значит...

Постояли, слушая удаляющихся птиц.

— Здоровые какие, — покачал головой Сергей.

— Да. К осени молодых от стариков и не отличишь... вон как загрохотали...

Кузьма Егорыч осторожно прошел вперед, поискал глазами и нагнулся:

— Погляди-ка, Сереж...

Сергей приблизился, сел на корточки.

Усыпанная хвоей земля пестрела глухариним пометом, то тут, то там виднелись гладкие лунки купалок.

— Живут все-таки . . . — улынулся Кузьма Егорыч, взял на ладонь засохший червячок помета, помял и бросил. — Хоть бы эти-то не улетели . . .

Сергей понимающе кивнул.

За ельником лежал большой луг.

Трава была скошена, тройка одиноких дубов стояла посреди луга. Огромный стог сена виднелся в дальнем конце, прямо возле кромки. Егерь поскреб висок, оглянулся.

Сергей снял с лица прилипшую паутинку:

— Так это мы, значит, справа обошли?

— Ага.

— Быстро. А я хотел по просекам.

Егерь усмехнулся:

— Здесь короче.

Сергей покачал головой:

— Тебе в Сусанины надо идти, Егорыч!

— Да уж . . .

Пересекли луг, вошли в густой смешанный лес.

Кузьма Егорыч уверенно двигался впереди, хрустя валежником, отводя и придерживая упругие ветки орешин. Серый ватник его быстро облепила паутина, сухая веточка зацепилась за воротник.

— Егорыч, а тут, наверно, грибов много бывает? — проговорил Сергей в ватную спину егеря.

— Когда как.

— А этим летом как?

— Ничего. Марья три ведра принесла. Посолили.

Слева в окружении кустарника показался расщепленный молнией дуб. Расколотый вдоль ствол белел среди сумрачной земли.

— Смотри как его, — кивнул головой Сергей.

— Да. И вроде б не на отшибе стоял-то.

— А тот вон такой же. Чего ж в этот ударила . . .

— Богу, стало быть, видней.

Сергей рассмеялся.

— Чего смеешься? У нас вон в пятьдесят восьмом шли через поле с сенокоса четверо, все вилы да косы на плечах несли. А одна баба без ничего шла, горшок из-под каши несли. Гром ударил и в нее. А она без железа, да и ростом пониже. Стало быть, за грехи с ней рассчитаться положил . . .

— Случайность, — пробормотал Сергей.

— Случайностей не бывает, — уверенно перебил его егерь.

Лес кончился, меж стволов показалась широкая, залитая солнцем просека.

Кузьма Егорыч повернулся к Сергею и поднял палец:

— Ну, теперь тихо. А то услышит, и пиши пропало.

— Как пойдем? — шепнул Сергей, снимая с плеча ружье.

— Во-он там по кустам переберемся . . .

Егерь снял с плеча свою двустволку, взвел курки и, сунув приклад под мышку, опустив ствол вниз, пошел через просеку.

Сергей двинулся чуть погодя.

Просека была широкой. Массивные пни успели порости кустами и папоротником, высокая трава стояла стеной по всей просеке.

Егерь осторожно обходил пни, перешагивал через поваленные стволы. Сергей старался не отставать.

На середине просеки из-под ног егеря поднялась тетерка и тяжело полетела.

Кузьма Егорыч весело выругался, провожая ее глазами, и пошел дальше. Когда приблизились к кромке, он молча показал Сергею на высокую ель. Сергей кивнул, положил ружье на землю, снял рюкзак и стал развязывать его.

Егерь стоял с ружьем наперевес, оглядываясь и прислушиваясь. Сергей достал из рюкзака веревку и маленький кассетный магнитофон. Привязав к веревке камень, он размахнулся и швырнул его в гущу еловых веток. Камень перекинул веревку сразу через три толстые лапы и, вернувшись вниз, закачался возле головы Сергея, который быстро подхватил его, отвязал и принялся привязывать к веревке магнитофон. Закончив, он нажал красную клавишу и потянул свободный конец. Запевший хриплым голосом Высоцкого магнитофон стал быстро подниматься вверх. Чем выше он поднимался, раскачиваясь на натянувшейся веревке, тем громче разносился по притихшему осеннему лесу ритмичный звон гитары и проникновенно надрывающийся голос:

«— А на кладбище все спокойненько, никого и нигде не видать, все культурненько, все пристойненько, исключительная благодааать!» — Магнитофон скрылся в густой хвое, помолчал и снова зашел.

Сергей торопливо прикрутил веревку к стволу ели, поднял ружье и опустился на корточки, сдвинув большим пальцем пластинку предохранителя.

«— А вот у психихов жинизнь, так бы жинил любооой, хочешь — спать ложиись, хочешь — песни пооой!» — неслось из ели.

Егерь напряженно смотрел в глубь леса.

Магнитофон спел песню про психов и начал новую — про того парня, который не стрелял.

Егерь с Сергеем по-прежнему неподвижно ждали.

Над просекой пролетели две утки.

Лесное эхо гулко путало слова, возвращая их обратно.

Сергей опустился для удобства на колени.

«— Немецкий снайперрррр дострррелил меняяя, убив тогоооо, которррый не стррррелял!» — пропел Высоцкий и смолк.

Из ели послышался его приглушенный разговор, потом смех немногочисленной публики.

Егерь сильнее наклонился вперед и вдруг замаха рукой, показывая Сергею что-то в глубине леса.

Сергей встал за ствол, поднял ружье.

Высоцкий неторопливо настраивал гитару.

Сергей разглядел между деревьями приземистую фигуру, поймал ее на планку ружья.

— Ты што! Ты што! — отчаянно зашептал егерь, прячась за куст, — далеко! Подпусти поближе, поранишь ведь, и уйдет!

Сергей облизал пересохшие губы и опустил стволы.

Высоцкий резко ударил по струнам:

«— Лукоморрья больше нет, а дубооов прррростыл и след, дуб годится на парррркеет, так ведь — неет! Выходиили из избыыы здоровенныя жлобыыы, порубииили все дубыыы на грррробыыы!» — Приземистая фигура побежала к ели, треща валежником.

Сергей поднял ружье, прицелился, сдерживая дрожь потных рук, и выстрелил быстрым дуплетом.

Грохот заглушил льющуюся из хвой песню.

Темная фигура повалилась, потом зашевелилась, сиюсья подняться. Пока Сергей лихорадочно перезаряжал, егерь привстал из-за куста и отвесил дважды из своей тулки.

Шевеленье прекратилось.

«— А ты уймийсь, уймийсь, тоскааа, у меня в грррруди! Это только пррррисказкааа — скаааазка впереди!» — протяжно пел Высоцкий. Вглядываясь сквозь пороховой дым, Сергей снова поднял ружье, но егерь замаха рукой: — Хватит, чего в мертвяка пулять. Идем смотреть . . .

Они осторожно пошли, держа ружья наготове.

Он лежал метрах в тридцати, раскинув руки, уткнувшись головой в небольшой муравейник.

Егерь приблизился первым и ткнул его сапогом в ватный бок. Труп не шевелился.

Сергей ткнул сапогом окровавленную голову. Она безвольно откатилась на бок, показав ухо с приросшей к щеке мочкой. По уху ползали возбужденные муравьи.

Сергей положил ружье рядом и быстро вытащил из кожаных ножен висящий на поясе нож.

Егерь взял труп за руку и перевернул на спину.

Лицо было залито кровью, в которой копошились влипшие муравьи. Ватник был распахнут, на голой груди виднелись кровавые метки картечин.

Сергей с силой вонзил нож в коричневатый сосок, выпрямился и вытер вспотевший лоб тыльной стороной ладони. Из рта трупы хлынула алая кровь.

— Здоровый, — улыбаясь, пробормотал егерь и, вытащив из кармана свой раскладной нож, стал умело срезать с мертвеца одежду. Сергей молча разглядывал убитого.

— «Там взаправду есть и коот, как направо — так поееет, а налево — так загнееет анекдоот...»

— Надо б снять, Сереж, — поднял голову егерь.

Сергей кивнул и пошел к ели.

— Вот где его зацепило... во продырявило как... — бормотал егерь, обнажая окровавленный живот трупа. Сергей подошел к дереву, развязал узел и осторожно спустил магнитофон.

— «Это только присказкааа, — скаазка впереди!» — успел пропеть Высоцкий и смолк, прерванный шелчком клавиши.

Сергей смотал веревку и вместе с магнитофоном убрал в рюкзак. Егерь тем временем ловко отрезал голову, откатил сапогом и выпрямился, тяжело дыша:

— Пушай кровь сойдет, тогда распластаем...

Сергей вернулся, сел на корточки перед трупом:

— Как быстро мы его, а, Егорыч. И не верится даже...

— Ты попал, а я добил! — засмеялся егерь. — Стало быть, не вконец ослеп еще.

— Молодец.

— И шел-то, сволочь, из самой гушины.

— Да, шел неудобно.

— Но ты здорово дал ему! Все пузо как просеял!

— А в голову ты, наверно, попал...

— Ага. У меня оно выше берет... Надо б от муравьев отволочь, а то облепят...

— Давай под дуб оттянем...

Они взяли труп за ноги и поволокли.

Голова осталась лежать возле муравейника. Егерь вернулся, ухватил ее за ухо и перенес под дуб.

Из шеи трупа еще текла кровь.

Сергей достал флягу с коньяком, отхлебнул и передал Кузьме Егорычу.

Тот вытер липкие пальцы о брюки, бережно принял флягу, отпил:

— Крепкая...

Сергей рассматривал труп:

— А широкий тип. Плечи вон какие мощные.

Егерь отпил еще и вернул ему флягу:

— Здоровяк... Ну ладно, давай свежевать...

Он быстро вспорол живот, вырезал сердце и, отодвинув лиловатые кишки, стал вырезать печень:

— И тут ему попало...

Сергей улыбнулся, посмотрел вверх.

Еле видный коршун, слабо шевеля крыльями, парил над лесом.

— А печеночку мы щас и пожарить можем, — бормотал Кузьма Егорыч, копаясь в кишках.

— Точно, — отозвался Сергей, — на углях.

— Да и на палочке можно. Свежатиноу, знаешь, как хо-рошо...

— Знаю, — улыбнулся Сергей и снова поднес флягу к губам. — Ну, с полем тебя, Егорыч.

— С полем, с полем, Сереж...

## КИСЕТ

Пожалуй, ничего на свете не люблю я сильнее русского леса. Прекрасен он во все времена года и в любую погоду манит меня своей неповторимой красотой.

Хоть и живу я сам в большом городе и по происхождению человек городской, а не могу и недели прожить без леса — отложу все дела, забуду про хлопоты, сяду в электричку и через какие-нибудь полчаса уже шагаю по проселочной дороге, поглядывая вперед, ожидая встречи с моим зеленым другом.

Вот и в эту пятницу не удержался, встал раньше солнышка, позавтракал быстро, по-походному, сунул в карман штормовки пару яблок — и к вокзалу.

Взял билет до моей любимой станции, сел в электричку и поехал.

Еду, гляжу в окно. А там — начало мая, все распускается, зеленеет, душу радует. Мелькают встречные электрички, а в них людей полным-полно. Все в город едут, а я в пустом вагоне из города — к лесу. Чудно...

Доехал до места, вышел на перрон, посмотрел влево. А там на горизонте лес темнеет. И видно, что верха-то его зеленой тронуты — еще неделя, и все зазеленеет. Вот радости-то мне будет!

Но, однако, гляжу — облака над лесом порозовели, вот-вот солнышко выкатится; надо поспешать, коль хочешь рассвет в лесу встретить. Сошел я с перрона и мимо небольшого поселка, мимо школы и каланчи пожарной зашел в мои любимые места.

Иду, а сам на облака поглядываю — боюсь опоздать к рассвету.

А кругом такая красота и тишь — сердце радуется! Земля молодой травкой проклюнулась, по оврагам дыма стоит, и пахнет так, как только одной весной пахнуть может.

От этого духа словно кровь в тебе закипает, и чувствуешь ты, что не сорок тебе с лишним, а все двадцать лет!

Прошел я по кромке поля, по жердочке пересек ручей и сразу в лесу оказался. Тут уж спешить некуда — нашел полянку знакомую, сел на поваленную березу и смотрю вокруг, наслаждаюсь.

Стоят окрест березки белоствольные — словно свечки, тянут ветки кверху, а на ветвях уже крошечные зеленые листочки, эдакий дым зеленый. Тут и солнышко уж поднялось, лучи-то вкось по стволам заскользили. Сразу и птицы запели сильнее, и от травки молодой пар пошел. Ветерок утренний по верхам пробежал, закачались березки, запахло зеленью молодой.

Красота!

Сижу я, люблюсь, ан вдруг слышу — кто-то кашлянул сзади.

Вот, думаю, кого-то нелегкая принесла. И тут одному побыть не дадут. Оборачиваюсь. Вижу, идет ко мне, не торопясь, мужчина лет, прямо скажем, солидных — из-под серой кепки виски совсем белые проглядывают. Телогрейка на нем, сапоги, рюкзак за плечами. И смотрит приветливо.

— Утро доброе, — говорит.

— Здравствуйте, — я ему отвечаю.

— Вы, — говорит, — разрешите мне тут посидеть немало, больно уж хороша поляна. Я вам не помешаю.

— Садитесь, — говорю. — Пожалуйста. Места тут всем хватит.

— Да... — говорит он, вздохнув, — это верно. В лесу места много...

Спустил рюкзак на землю, сел.

Сидим мы, смотрим, как солнышко все выше да выше сквозь ветки пробирается. А я изредка на незнакомца поглядываю.

Снял он кепку, на березу положил. Вижу — голова у него совсем седая, словно мукой посыпана. Лицо морщинистое, пожилое, а вот глаза по-молодому смотрят, с огоньком.

Посидели мы еще минут несколько, он и говорит:

— Кто рассвет в лесу встречает, тот стар не бывает. Согласился я с такой мудростью.

— А вы, — говорю, — любите рассвет в лесу встречать?

— Люблю, — говорит.

— И часто встречаете?

— Да каждый день приходится.

Удивился я.

— Вы, — говорю, — счастливый человек. Наверно, в поселке живете?

— Нет, — отвечает, — я не здешний. Я просто, — говорит, — по лесу хожу.

Вот, думаю, тебе и на. По лесу ходит. Может, думаю, разбойник какой или беглый?

А он словно мысли мои прочел — улыбнулся, морщинки возле глаз так и залучились.

— Вы, — говорит, — не думайте дурного. Я не сумасшедший и не преступник. Я травник. Травы, корешки лекарственные собираю и сдаю. Из них потом фармацевтическая фабрика лекарства делает. Этим и живу. Раньше в артели работал, а недавно один решил. Вот и хожу один...

— Так ведь, — говорю, — сейчас травы-то почти нет — только-только показалась.

— Правильно, — говорит, — я ландыши собираю.

— Как? Они ведь, — говорю, — отцвели...

— Тоже верно, — улыбается, — цветки-то отцвели. А плоды — в самый раз для сбора. Вот, полюбуйтеесь...

И рюкзак свой потертый развязывает.

Подсел я ближе, смотрю, а в рюкзаке у него сплошь разные пакеты целлофановые; в одних — кора, в других — корешки. А он вынимает самый большой пакет, развязывает и говорит:

— Это и есть плоды ландышей. Они в медицине очень широко используются.

Гляжу, целый пакет красненьких бусинок, ландышами от них совсем не пахнет.

— Да, — говорю, — цветы-то я всегда замечал, а вот плоды — впервые вижу.

А незнакомец улыбается:

— Ничего, — говорит, — бывает. Вы, — говорит, — городской?

— Да, — говорю, — из города.

Он улыбнулся и ничего не сказал.

А солнце уж поднялось, припекать стало. Незнакомец свой ватник-то скинул, рядом на березу положил. Под ватником у него военная гимнастерка без погон оказалась, а на ней целый квадрат орденских ленточек. Штук не меньше двадцати. Сразу видно — не обошла война человека. Щурится он на солнышко и достает из кармана кисет. И кисет, прямо скажем, странный. Не простой. Сам я курением никогда не баловался и во всех курительных тонкостях не силен. Но кисеты видел — приходилось давно еще, в детстве. Тогда многие старики курили трубки или самокрутки. И ничего, скажем, особенного в тех кисетах не было — обычные матерчатые или кожаные мешочки с табаком.

А этот — особенный, весь потертый, с узором, со шнурком шелковым. Да и шит из какой-то тонкой кожи, наподобие лайки. Видать, не нашего пошива.

Незнакомец его бережно на колени положил, развязал, достал бумажку и принялся за самокрутку.

Тут я не выдержал, да и спрашиваю:

— Простите, а что ж это у вас за кисет такой?

Он повернулся, улыбается и переспрашивает:

— А какой — такой?

— Да, — говорю, — особенный. Басурманский прямо.

— Басурманский? — переспросил он и головой качнул. Хоть улыбаться не перестал, а в глазах что-то вроде укора промелькнуло. — Эх вы, — говорит, — басурманский... Какой же он басурманский? Его самые что ни на есть русские руки сшили.

И замолчал.

Молчу и я. Неловко мне, что невпопад спросил человека.

А он тем временем свернул самокрутку, раскурил, не торопясь, а кисет не убрал. Держит его на ладони, разглядывает. И в лице у него что-то суровое появилось, словно сразу постарело оно.

Посидел он так, покурил, а потом и говорит:

— Вот насчет того, что — необычный, это вы правильно сказали. Кисет этот и впрямь необычный. У меня с ним, прямо скажу, вся жизнь связана.

— Интересно, — говорю, — как же это так?

— Да вот так, — отвечает и, покуривая, на солнышко щурится. — История эта давно началась. Сорок лет назад. Ежели у вас и впрямь интерес к кисету имеется — расскажу вам эту историю.

— Конечно, — говорю, — расскажите. Мне действительно очень интересно послушать.

Докурил он, погасил окурочку и принялся рассказывать.

— Родился, — говорит, — я в деревне Посохино, что под Ярославлем. Там детство мое белооброе да босоное прошло. Там и юношествовать я начал. А тут — война. Не дала она мне, проклятая, даже и поцеловать мою подружку — двадцать третьего июня в восемнадцать лет пошел добровольцем.

Бросили нас, пацанов, под Киев. Из всего полка за три дня боев осталось сорок два человека. Все иссеченные, ободранные. Вышли из окружения. Потом отступали. А отступление, мил человек, это хуже смерти. Никому не пожелаю. Идем, бывало, через деревни, а бабы да старики выйдут, возле изб станут и стоят молча — смотрят. А мы — головы опустив, идем. Идем, а у меня так сердце в груди и переворачивается. А в глаза им взглянуть не могу... Так прошли мы до самого Смоленска, а там в одной деревеньке остановились на привал пятиминутный — ремень подтянуть да портянки переменить. И вот, мил человек, стукнул я в окошко одной избы, — чтоб, значит, воды испить вынесли. И выходит ко мне девушка — моя ровесница. Красивая, синеглазая, русая коса до пояса. Я сразу и язык проглотил — думал, тут кроме старух да стариков и нет никого. А она без слов поняла мою просьбу, вынесла воды в ковшике медном и стоит. Я ту воду залпом выпил, и, признаюсь, показалась она тогда мне слаще всех вин и нектаров. Отер губы рукавом, передал ей ковшик и говорю:

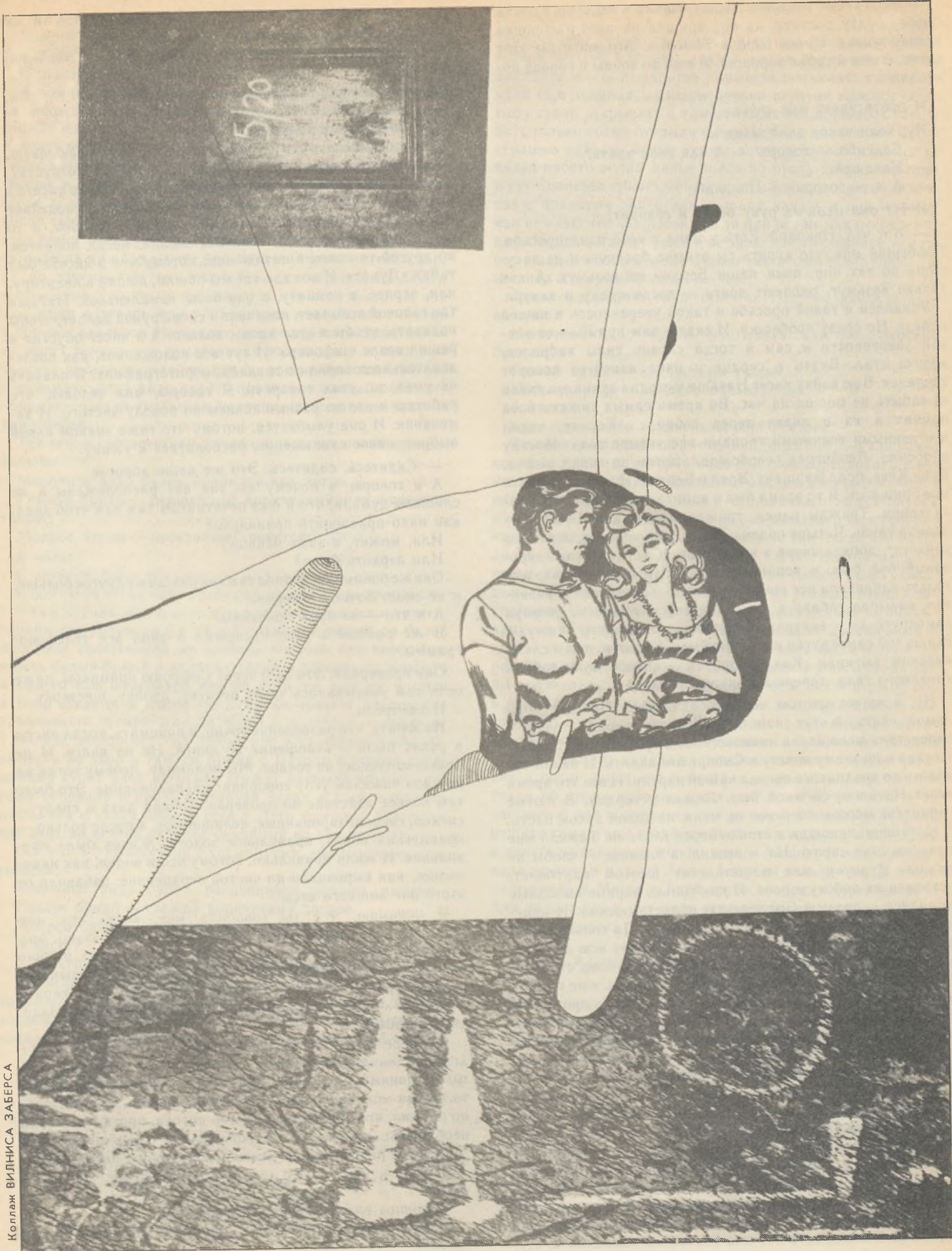
— Спасибо тебе.

А она тоже на меня смотрит во все глаза, я ведь, не скрою, тогда парень видный был.

— На здоровье, — говорит. — А вы, — говорит, — курящий?

— Да, — говорю, — покуриваю слегка.

Тут она ушла и вскоре возвращается, а в руке у нее кисет. Вот этот самый кисет. В ту пору он совсем новый был. И молвит она мне такую речь:



— Этот кисет, товарищ солдат, сшила я недавно. Хотела своему брату послать, да вот пришла на него похоронка неделю назад. Погиб он под Гомелем. Возьмите вы этот кисет. В нем и табак хороший. Я еще до войны в городе покупала.

И протягивает мне кисет.

Ну, коли такое дело, взял я.

— Спасибо, — говорю. — А как тебя звать?

— Наташей.

— А я, — говорю, — Николай.

И тут она меня за руку берет и говорит:

— Вот что, Николай. Есть у меня к тебе одна просьба. Пообещай мне, что курить ты отныне бросишь и не закуришь до тех пор, пока наши Берлин не возьмут. А как только возьмут, одолеют врага, — тогда сразу и закури.

Удивился я такой просьбе и такой уверенности в нашей победе. Но сразу пообещал. И скажу вам прямо — от эдакой уверенности и сам я тогда словно силы набрался, крепче стал. Будто в сердце у меня какой-то поворот сделался. Всю войну кисет Наташи у сердца хранил, а глаза ее забыть не мог ни на час. Во время самых тяжелых боев помнил я их и видел перед собой... Короче, ходил я огненными военными тропами все четыре года. Москву оборонял, Ленинград освобождал, потом на запад пошел. Брал Киев, брал Варшаву. Брал и Берлин. И рейхстаг брать мне пришлось. В то время был я капитаном, командовал батальоном. Трижды ранен, трижды контужен. Медалей — полная грудь. Четыре ордена. И вот, мил человек, взяли мы рейхстаг, добились зверя в его логове. И хоть тяжелый, кровавый бой был, а вспомнил я про Наташин наказ, как только закричали все вокруг «ура!» — достал кисет, развязал, насыпал табаку в клочок армейской газеты, свернул самокруточку и закурил. Закурил... И вот что скажу — слаще той самокрутки ничего не было. Курил я, а сам слезы кулаком вытирал. Как говорится — поработали, добились кровавого гада, теперь и покурить можно...

Ну, а потом пришла ко мне беда. День Победы, пора домой ехать, а тут нашлась в полку черная душа — оклеветала меня перед начальством, и арестовали солдата. Поехал я по злему навету в Сибирь лес валить. И валил его вплоть до двадцатого съезда нашей партии. И все это время кисет Наташин со мной был. Лежал у сердца. В лютые сибирские морозы согревал он меня, не давал духом пасть. А Наташино лицо так и стояло перед глазами. Тяжело мне пришлось, не скрою. Но — выжил, а главное — злобы не нажил. Вернули мне в пятьдесят шестом партбилет, устроили на работу в роно. И как только первые выходные выдались — сразу в Смоленскую область поехал. И аккуратно в ту самую деревню. Быстро нашел ее. Да только Наташиного дома найти не смог. Нет его. В войну всю деревню немцы сожгли, после в сорок шестом ее заново строили. А Наташа, как мне в ихнем сельсовете сказали, еще в сорок первом в партизаны подалась. С тех пор ничего про нее не слыхали. Отряд был из небольших и вскоре ушел в Белоруссию. Вот, мил человек, дела какие. А главное, она ведь с бабушкой жила, родителей еще до войны потеряла. А бабуля уж давно померла. Так что концов родственных никаких не осталось. Но хоть фамилию узнал. Поляковой она была. Ну и начались поиски Наташи Поляковой. Ох и поскрипели тогда мои ботиночки. Четыре года искал я свою Наташу. И нашел. Нашел! Написали мне, что живет она в городе Одессе. Полякова Наталья Тимофеевна, 1923 года рождения. Взял я отпуск за свой счет и поехал в Одессу. Нашел улицу, нашел дом. Вошел во двор. Подсказали мне квартиру номер шесть. Стучу. И открывает мне моя Наташа. За шестнадцать лет она совсем не изменилась. Ну,

чуть-чуть только. Косу не остригла, и глаза все те же остались. Как два василька.

— Здравствуй, — говорю, — Наташа. Вот я тебя и нашел.

А она смотрит так удивленно и спрашивает:

— А вы кто?

Тут я ей кисет показываю.

Она поглядела, руки к лицу поднесла, подняла так левую, а после юбку тербит и так потрогает, потрогает и отпустит, а ногой качает и мне все тянет за рукава. А я стою с кисетом и плачу. А она присела и ногами так поделает, поделает и стала рукой колебать, чтобы выпрямить шнурок, а то он немного крив, когда не в натяжении, когда подается, но другой-то конец в натяжении, потому что в кисете был табак «Дукат». И вот так вот мы пошли, пошли в квартиру, или, вернее, в комнату, а она была немаленькой. Наташа так головой покачает, покачает и снова рукой делает, чтобы подавать, чтобы я шел вдоль, вольно. А я кисет опустил и решил возле шифонера. И тут все положенное, как последовательно говорили о главном, о фотографиях. Я плакать не умел, но стал говорить. Я говорю, мил человек, что работаю и делаю разные заказы по поводу чистого. И замечания. И она улыбается, потому что тоже знаком какой выброс, какое скольжение, располагает к ужину:

— Садитесь, садитесь. Это же наше дорогое.

А я говорю, а почему мы так вот расположены и не слишком думали, что я был печатником там или чтоб знал, как надо прислонить правильно?

Или, может, я знал меньше?

Или перхоть была?

Они же понимали, что пол там как раз, даже другое больше, и не знал, почему я верил.

А я что — не брал половины?

Я же райком в утро тревожил и знал все телефонограммы.

Они проверяли. Это шло через Софронию прямиком, даже если там указывалось через десятку, двойку, шестерку.

И смотрели.

Но верить, что разведение точно, и понимать, когда листы в руках были — отношение не книги. Не по книге. И не братство тесное, не точное. Мы понимали, почему тогда на каждом тяжелом углу говорили: «Запахундрия». Это было там первое действие по проверке. Точная дата и сразу — сигнал, сигнализированные, нелишенные, а после только — правильная почта, правильное золото. Жизнь была правильной. И жили правильно, потому что я видел, как намечалось, как выровняли по чистой сердцевине, избавили от этого вот лишнего веса.

Я понимаю, что ты говорила мне, когда так вот наклонишься, наклонишься и голенькая показываешь мне молочное видо, где гнилое бридо. Я знал, что именно спереди есть молочное видо, а сзади между белыми — гнилое бридо, а чуть повыше, если так вот верить и водить — будет и мокрое бридо, то есть мокренькое бридо, очень я понимал.

Я уверен, что простые человеческие условия будут хорошо понимать и главное — обнимать. А обниматься — мы не понимали, почему я думал, что обниматься можно только за молочное видо. Обниматься, я ведь очаровательно помнил, что обниматься против потока, против уяснения необходимо правильно. И обнимались очень правильно.

Простое расписывание всего необходимого мы извлечем. Я уверен, что я буду делать самое твердое, неподвластное.

Молочное видо мы уневолим шелком.

Гнилое бридо необходимо понимать как коричневый творог.

Мокрое бридо — это память всего человечества.

А кисет?

С кисетом было трудно, мил человек.

Я помню, ночью, бывало, встанешь — полшестого тьма за окном фрамуга насквозь промерзла позавтракаешь чаем лустым и на вокзал а там мешки с углем разгружать в двенадцать обед в кухню зайдешь а там пар как в бане повара стоят возле чанов а в чанах там булькает клокочет варят головы у пленных отрубанные в муке в муке там в клейстере и запах богатый идет так слюною весь изойдешь повар там был знакомый Эраст ты мигнешь он отворотится этот Эраст а ты рукавами ватника голову из чана хвать да за полу да на двор в снег бросишь шабер из валенка дерг да по темени тюк тюк расколушаешь черепок на мозги и ешь и ешь ешь не ох наешься так что вспотеешь аж вот как жили а теперь вон в магазинах и не бывает совсем я ходил я кланялся просил что ж они уважить фронтовика не могут почему нет в магазинах это не дело я ведь мил человек прекрасно разбирался во всем точно сделано что я понимаю когда надо делать правильно когда промерять обниматься надо только за молочное видо в этом простое равновесие.

Так что, в соответствии с упомянутым, мы положим правильное:

Молочное видо будем понимать как нетто.

Гнилое бридо — очищенный коричневый или корневой творог.

Мокрое бридо — простейший реактор.

А кисет?

С кисетом было трудненько, мил человек.

Я помню он тогда меня разбудил открыл дверь приглашает а там Ксения обугленная и лежит господи я так и присел черная как головешка а рядом червь тот самый на белой простыне толстенький не приведи господь как поросенок и весь белый-белый в кольцах таких и блестят от жиру-то а сам-то еле шевелится наелся чего уж там ну я стою а Егор Иваныч в слезы тут старухи пришли покровские простынь за четыре угла да червя с молитвою и вынесли а он как заскрипит гад такой аж всех передернуло ну вынесли во двор а там уж Миша с Петром в сетках с дымярами стоят улей наготове держат открыли крышку рогожу оторвали и прочь а старухи червя в улей вывалили пчелы его и стали поедом есть а Петр крышкой привалил так ведь до вечера скрипел окаянный из-под крышки.

Так что, в соответствии с упомянутым, мы положим правильное:

Молочное видо будем расценивать мокрою манною.

Гнилое бридо — свежий коричневый творог.

Мокрое бридо — шахта второго прохода.

А кисет?

С кисетом было трудненько, мил человек.

Я помню утром команду дали всех построили Соловьев приказал зачитать каждому в руки по лопате и вперед копаем копаем а там все стена да стена часа четыре прокопали пока торец показался ну тут Соловьев рукой махнул

перекур сели покурили поели у кого что было потом опять копать копаем наконец другой торец выглянул подвели двадцать шесть домкратов покачали поднялась еще покачали еще поднялась саперы бревна всунули нажали кроп-тофу стали открывать а там замки замки пришлось спиливать только потом открыли и поползло из-под нее это Степа страшно сказать целые тонны вшей я такого никогда не видел просто волны целые и все по руслу копанному идут и тут Соловьев кричит помпы помпы так вас перетак Жлук-тов с прапором запустили и давай качать а они шуршат как не знаю что как песок что ли или нет не как песок а как пыль что ли и пахнет так я и не знаю как это сказать ну пахнет вшами в общем и это прямо так неожиданно было я и не знал и Сережка тоже не знал.

Так что, в соответствии с упомянутым, мы положим правильное:

Молочное видо будем учитывать как необходимые белила.

Гнилое бридо — коричневый творог.

Мокрое бридо — плесень подзалаупная.

А кисет?

С кисетом было трудненько, мил человек.

Я помню растолкал он нас с Аней тогда с утречка показал коробки вороха и говорит надо быстрее сортировать а мы уж готовы мы тут же полезли по полкам и за работу и вот сидим сортируем а я у Ани и спрашиваю про тот случай ну как все было а она и стала рассказывать она говорит что Маша когда беременная ходила то еще тогда все удивлялись что живот маленький хотя уж и седьмой месяц и восьмой и девятый а когда родила так совсем было удивительно маленький мальчик то есть не то что маленький а зародыш он на ладони умещался и сначала отдали их в больницу на сохранение но он же нормальный доношенный и живой но после их выписали и они дома были и он стал расти но не так как надо то есть не весь а у него стала как бы вытягиваться грудная клетка то есть низ и верх не рос а промежуток вытягивался и он так вот вытягивался она говорит он лежал как колбаса а после еще больше вытянулся и стал ползать как гусеница и совсем не плакал ничего а она ему давала из пипетки молоко и детское питание а после взяла его и поехала к своим потому что все стали об этом говорить и вот два года ее не было и со свекровью они поругались она не писала а после свекровь решила сама к ним поехать и поехала а вернулась вся седая и ничего не говорила только деньги Маше посылала и плакала по ночам и тогда Аня с Андреем поехали но их в дом не пустили и Маша с Аней грубо говорила через дверь и Аня видела что у них окна все зашторены глухо а больше ничего не знает.

Так что, в соответствии с упомянутым, мы положим правильное:

Молочное видо — это сисоло потненько.

Гнилое бридо — это просто пирог.

Мокрое бридо — это ведро живых вшей.

авот



Рисунок МАМУКИ ДЖАПАРИДЗЕ



# ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

ЭРИКС АДАМСОНС

## МАТРОССКИЙ РОМАНС

Когда осенним вечером душа болит и ноет,  
Иду, влекомый музыкой, я в кабаре ночное.

Там можно молча посидеть. Там ароматны вина.  
Восточные красавицы там будут танцевать.  
Их кожа теплая нежней, чем кожа апельсина,  
Могу за несколько монет я их поцеловать.

Когда осенним вечером душа болит и ноет,  
Иду, влекомый музыкой, я в кабаре ночное.

И славлю Гольф и Гибралтар за это удовольствие.  
О, Фрины нежное дитя, что может быть милей,  
Но если денег не возьмет красавица, а просто  
Мне улыбнется, то она подругой станет мне.

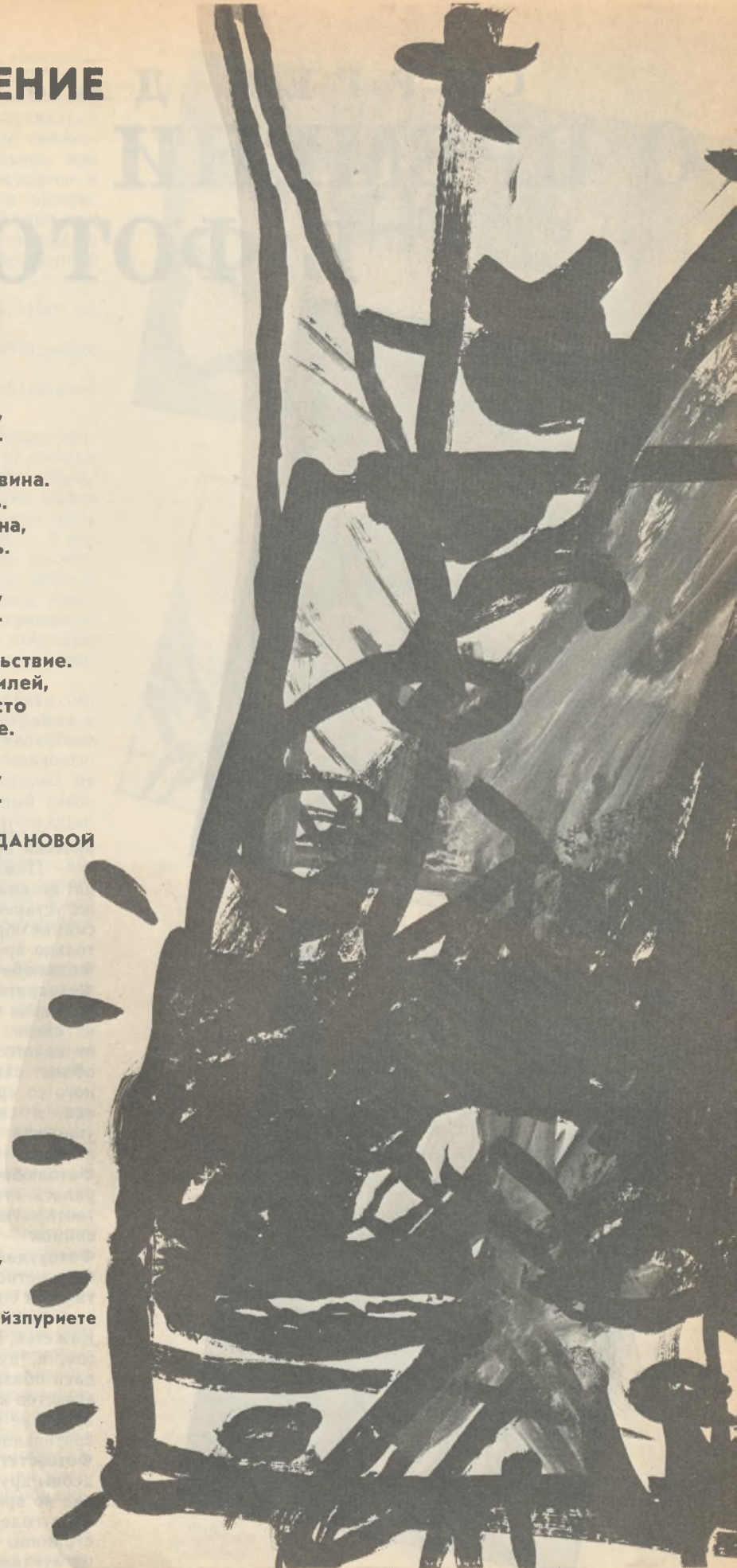
Когда осенним вечером душа болит и ноет,  
Иду, влекомый музыкой, я в кабаре ночное.

Перевод ЛИДИИ ЖДАНОВОЙ

К чему эти строчки, сквозь дождь и снег  
долетающие к нам как призрачные  
бабочки! Они живы надеждой на теплоту  
или на чудо. Или на то, что у нас тоже еще  
в цене непроданная улыбка.

Но мир наших ценностей устойчив  
и угрюм как тот длинный осенний  
вечер, и моряку, придуманному поэтом  
(или уделившему поэту свое лицо и  
стать) здесь не слишком уютно. Поэт  
сочинил для себя спасительное кабаре.  
И все летят к нам призрачные  
бабочки его строчек, может быть безнадежно,  
и все-таки летят.

Аманда Айзпуриете



# СЕРГЕЙ ДАУГОВИШ О ВРЕМЕНИ В ФОТОГРАФИИ



— ... Да, самое время порассуждать об этом, — иронически произнес Фотокритик.

— Пожалуй, фотография в год своего 150-летия выглядит весьма постаревшей ... Мне порой кажется, что она даже устаревает ... Сейчас как-то особенно ясно, что в фотоснимке образ, изображение и натура могут сосуществовать только временно.

**Фотолюбитель:** — Как же это?

**Фотокритик:** — А так ... Я бы сказал, что компоненты фотографии почти всегда оказываются прочнее соединяющей их связи. Сначала, ввиду его несомненной первичности, от целого отслаивается документально зафиксированный объект съемки. Затем наступает очередь образа, способного со временем наполняться иным содержанием. Наконец, и сам фотоотпечаток переходит в разряд вещей ушедшей культуры, представляющих чисто музейный интерес.

**Фотолюбитель:** — Отчего же тогда мы так любим рассматривать старые фотоальбомы, полувековой давности фотооткрытки с видами родного города? Ведь всякий снимок — это история!

**Фотохудожник:** — И не только ... Уже сам момент съемки безотчетно символичен. «Нажимая кнопку», я автоматически соединяю текущее время, «ускользающее сейчас», с ценностно переживаемым «большим временем» истории. Кажется, Шеллинг назвал время «бесконечностью конечного», и, думаю, не случайно именно фотография сделалась обязательной участницей всевозможных ритуалов и этикетов как «событий на память». Я полагаю, что снимок время не умерщвляет, а сохраняет его живым для нашей зрительной памяти ...

**Фотоэстетик:** — А что, если история и фотография враждебны друг другу? .. Разве не противоположно их отношение ко времени человеческой жизни? .. История разъединяет людей, превращает смысл их судеб в их перевернутые страницы книги, правила чтения которой неизвестны читателям, пришедшим позже. Фотография же соединяет всех нас: и умерших, и только что родившихся, и находя-



щихся на полпути. Все мы, пока существует мир, в котором есть фотография, включены в единую оптическую данность, в единую картину, превосходящую возможности нашего видения. Экзистенциальное равенство буквально всего, что только может быть запечатлено на снимке, действует на любого из нас безусловнее и сильнее, чем любые намеренные попытки «приблизить фотографию к жизни». Прекрасное и безобразное, высокое и низкое, смешное и трагичное преломляются фотографией лишь как временно доступное нам расслоение бытия, знание о котором никогда не может иметь финальный, абсолютный характер.

**Фотолюбитель:** — Странная теория... Я всего этого не чувствую...

**Фотожурналист:** — По-вашему выходит, что фотография существует вне конкретного времени?..

**Фотокритик:** — Или только от 1839 года до библейского «конца времён»...

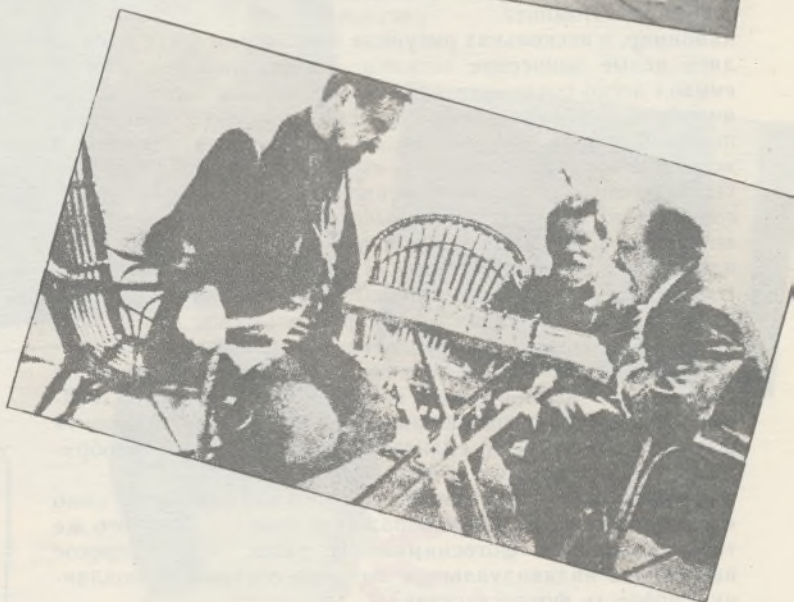
**Фотожурналист:** — Фотография не может быть безразличной к интересам и мыслям людей. Разве не могут снимки сохранять неповторимые мгновения большой общественной значимости? Разве не важна позиция человека, выражающаяся в фотографии? Снимок может и должен быть высказыванием, сообщением, внушением, наконец... У него есть тема, идея, он задает вопросы и отвечает на них. Снимок — это результат познания социальных законов, и он способен в образной форме давать людям верное понимание жизни. Этим он и ценен, по этой причине и принадлежит истории. Отражая свое время, фотограф с помощью объектива как бы пишет летопись, участвует в формировании общественного сознания...

**Фотокритик:** — Говоря о рассогласованности объекта, образа и их изображения, я думал как раз о фотографии в прессе... Воспроизведение жизни в фотожурналистике балансирует на грани кажимости и желательности. Редко можно встретить снимки, содержание которых не требовало бы перевода на обычный, невизуальный язык. Слово в фотожурналистике — это обязательный соединитель визуального материала. Уберите слова, и снимки рассыплются. Но слово уже по самой своей природе — абстракция, отвлечение; и его отношение к предмету потенциально скрывает в себе высказывание о предмете. А это значит, что сам предмет как бы пропадает и заменяется видимостью...

**Фотолюбитель:** — Конечно, всем известно, что фотоснимок — лишь химически закрепленная оптическая проекция видимой реальности, а не сама эта реальность. И слово тут, мне кажется, и не участвует совсем. Разве что какие-то словесные импульсы могут влиять на выбор фотографом тех или иных вариантов позитивного или негативного процесса...

**Фотохудожник:** — Я вообще не уверен, что фотоизображение проницаемо для слова. Даже в замысле снимка нет ничего словесного. Я созерцаю только визуальные формы, значение которых покоится в них самих. Визуальный облик может полноценно существовать и вне связи с его реальным предметным носителем. Я фотографирую зримые свойства предметов, а с тем, что предметы приходят в изображение вместе со своими оптическими характеристиками, мне просто приходится мириться. В конце концов, возможна ведь и абстрактная, беспредметная, во всяком случае — самоценная фотография... Помните, у Достоевского в романе «Идиот» превосходный почерк князя предшествует раскрытию его добрейшего характера, а фотографически запечатленная необыкновенная красота Настасьи Филипповны самоценно предваряет непосредственное знакомство героя с этой непростой женщиной. Время, в котором располагаются слова и связанные с ними представления, совсем не похоже на время в изображении. Изобразительное время сосредоточено в визуальной композиции, оно неподвижно, как и само изображение.

**Фотожурналист:** — Если я вас правильно понял, то время в фотографии принадлежит исключительно самому изобра-



жению?.. Но вы забываете о времени, в котором живет фотограф!!! Вы не учитываете времени как соотношения события, действия с моментом съемки, который сам по себе мыслится в составе того или иного из жизненных процессов. Скажем, фоторепортаж... Это ведь соединение по меньшей мере двух процессов, двух событий: события истории и события съемки. Последнее — тоже часть исторического времени. Фоторепортер может быть недостаточно синхронизирован с разворачиванием исторической реальности, но этому препятствуют только внешние условия: конъюнктура, мода, политика, оплата и прочее. В идеале же процессы должны совпасть, стремиться к совпадению. И полученные таким способом снимки не устареют, останутся на все времена.

**Фотоэстетик:** — А мне представляется существенным не образ времени в отдельных «удачных» или «неудачных» снимках, а вся фотография как особое временное явление, если угодно, — особый исторический возраст изобразительной культуры. Ведь изображение в своем развитии пережило, как мне кажется, три основные исторические стадии. Первую стадию условно я бы назвал пиктографической. Помните, — рисуночное письмо... Когда, например, в нескольких рисунках на вазе или шите уместались целые эпические сюжеты. Изображение и чистый символ легко соединялись. И до сих пор мы имеем дело с подобной изобразительной системой в гербах, эмблемах, поздравительных открытках, в плакатном и рекламном искусстве. Второй возраст изображения — зйдография. Пример тому — классическая европейская живопись Нового времени. Здесь картина мыслится как внешнее воплощение видения, чувственное овнешнение образов, представлений человеческого сознания. С изобретением же фотографии наступает совершенно другая эпоха — онтографическая, то есть такая, когда не столько мы пользуемся «новыми изобразительными средствами», чтобы запечатлеть образы бытия, сколько само бытие использует наше видение для демонстрации собственной самооткровенности. Ведь суть фотоизображения в том, что оно «говорит» о нерасторжимости, о единстве изображаемого и изображающего как элементов бытийного целого...

**Фотолюбитель:** — Значит, это уже не я снимаю, а оно само «пользуется» мною для изображения себя?.. Для кого же тогда создаются фотоснимки? И разве не мастерское выражение индивидуального видения составляет подлинную прелесть фотоискусства?..

**Фотохудожник:** — Вот именно!

**Фотожурналист:** — Интересно... Никогда об этом не думал... Выходит, важно не то, что и как требуют от меня снимать, а сам факт моего существования наряду с фактом существования фотоаппарата в моих руках и объектов самих по себе... Мне всегда казалось, что изучение композиции, выразительных приемов и изобразительных техник совершенно не нужно в фотожурналистике. Подражание живописи и графике — дело фотохудожников, а мое дело — вертеться в гуще жизни.

**Фотокритик:** — Раскайние, хотя и запоздалое, смягчает вашу вину перед историей...

**Фотоэстетик:** — Шутки шутками, но если фоторепортеру и нужно знание о выразительной композиции кадра, то только для того, чтобы постоянно преодолевать его во время реальной фотосъемки...

**Фотокритик:** — И все же, вероятно, нет большого греха в способности фотографии подражать живописи и даже более ранним «возрастным состояниям» изображения... Если ей это хорошо удастся, то пусть себе путешествует во времени, не перемещаясь физически из сегодняшнего дня. И пусть наше зрение вместе с нею еще и еще раз вспоминает различные формы отношений между видящей личностью и действительностью, в которой мы так или иначе себя обнаруживаем...

**Фотолюбитель:** — Вот это, мне кажется, как раз и происходит, когда мы листаем домашний фотоальбом...

**Фотохудожник:** — Вполне вероятно.

**Фотоэстетик:** — Совершенно ясно, что мемористическая функция альбома возникла задолго до появления фотографии. Однако с появлением фотоизображения эта функция изменилась...

**Фотолюбитель:** — Только не читайте нам лекций! Примеры у вас есть?

**Фотоэстетик:** — Пожалуйста! Например, знаки «военно-служебного» времени в так называемых «дембильских фотоальбомах»... Обратите внимание на рассказы, которыми сопровождают показ альбомов их «прошедшие через все» владельцы. Логика повествования не обязательно совпадает с буквальной логикой заснятых событий. Информативность возникает где-то между словом и изображением, на пути от одного к другому. Особо акцентируются отличия «гражданского» времени от «военно-служебного». Бывший воин часто не помнит лиц, не помнит имен, не помнит даже, где точно это заснято. На фотографиях он видит только какие-то значащие детали, подчеркивающие несоблюдение устава, всевозможные несоответствия с регламентацией внешнего облика, нарушения запретов политотдела, разрешающего, например, пользоваться фотоаппаратом только в клубе или красном уголке. Мне кажется, что фотография — лишь зримый след способности человека бывать в разных временах, лишь форма обнаружения разнохарактерности бытийного времени... В той же армии бывает служба, где год идет за два!.. Тут есть что-то необъяснимое... Время появления в семье первого ребенка... Время студенческой жизни... Время свадебное и похоронное... Время пробуждения народа и время... безвременья... Все они разные. Видение человека живет вместе с ним, а фотоизображение — лишь самая доступная из иллюзий победы над небытием.

**Фотолюбитель:** — С вами невольно загрустишь... И задумаешься об отпущенном судьбою сроке... Вон какого трагизма нагнали!.. Пойду-ка лучше в свой фотоклуб. Там как раз призы по итогам конкурса присуждают. Интересно, не перепадет ли и мне что-нибудь?

**Фотохудожник:** — Трагизма?!? Я, напротив, развеселился... Как хорошо, что фотографию создают не теоретики!

**Фотокритик:** — Но и не одни только фотохудожники...

**Фотожурналист:** — Браво!

**Фотоэстетик:** — А ведь верно говорят: пока не объяснишь другим, сам до конца не всё понимаешь... Знаете, о чем я сейчас подумал? Фотография дает физическому времени как бы просачиваться сквозь время экзистенциальное. Историческое время, создаваемое нами самими, в фотографическом снимке становится равнозначным времени существования нас как физических тел...

**Фотолюбитель** (с порога, смеясь): — Он неисправим!..



Гермак Виноградов



Дмитрий Пригов



Сергей Лагов. Фрагмент «М». «Коллективные действия»



Татьяна Щербина



Борис Южананов.

«Ноль Ноль» — журнал-альманах «новой культуры», первый номер которого был собран в июне 1988 года, после чего был передан в ЦК ВЛКСМ, где гулял по множеству кабинетов до марта 1989 года, встречая неизменно положительное отношение комсомольцев, но «воз и ныне там» был, пока комсомольцы не передали его в свое издательство «Молодая гвардия», главный редактор которого быстро, в апреле 1989 г., дал ответ условному главному редактору ж. «Ноль Ноль», что мы, мол, можем кое-что оттуда взять, кое-чего туда добавить и дать своего редактора. Спасибо, — сказала условный гл. ред. Т. Щербина от лица всей редколлегии (Б. Южананов, О. Хрусталева, Д. Пригов, И. Алейников, М. Трофименков, Д. Волчек, Г. Виноградов, Рашид Нугманов, С. Летов), — прощайте.

Журнал создавался на основе самиздатских журналов «Митин журнал», «Третья модернизация», «Синефантом».

Слух о невышедшем журнале распространился широко по миру, и западные журналисты стали обращаться с просьбами дать интервью о «Ноль Ноль», удивляясь, что журнала этого не существует.

В первом номере (17 п. л.) были собраны: «Глазами эксцентрика» Венедикта Ерофеева, рассказы Е. Попова, Вик. Ерофеева, В. Сорокина, стихи Л. Рубинштейна, Д. Пригова, Т. Щербины — подборки последних четырех авторов напечатаны в «Роднике», — статьи Г. Литичевского о московских художниках-авангардистах в ситуации конца 80-х гг., С. Летова о «новом джазе», М. Трофименкова о ленинградских «новых художниках»<sup>1</sup>, Н. Алексеева о художественной жизни с сер. 70-х по сер. 80-х, Г. Кизевальтера о «Коллективных действиях»<sup>2</sup>, беседа О. Хрусталева и А. Левкина о «новой культуре»<sup>3</sup>, статья Д. Волчека о самиздате<sup>4</sup>, описание акции Г. Острецова «Красная свадьба», статья Т. Салзырн о бикапони Г. Виноградова, статья Гротовского «Ты чей-то сын...» и «Дэвид Боуи глазами Дэвида Боуи» в переводе Л. Мельниковой<sup>5</sup>, подборка материалов о параллельном кино,<sup>6</sup> много слайдов и фотографий (С. Борисов и А. Безукладников).

Журнал, может быть, еще выйдет как орган создающейся в Москве Свободной Академии, но материалы первого номера, дабы они не лежали мертвым грузом (год уже много), редколлегия отдает братскому ж. «Родник».



Дмитрий Волчек



Игорь Алейников (с камерой).

<sup>1</sup> «Родник» № 11, 1988.

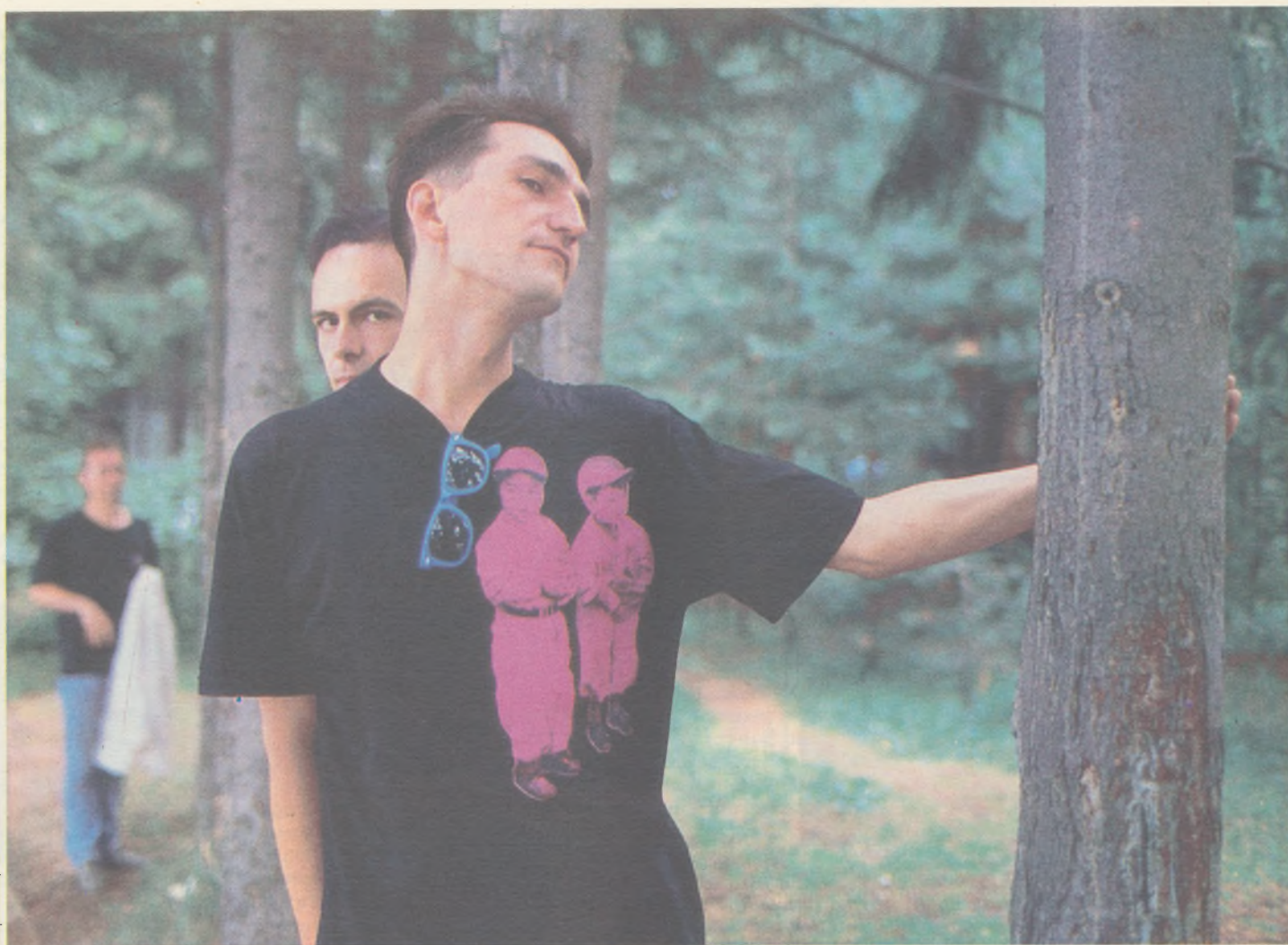
<sup>2</sup> «Родник» № 11, 1989.

<sup>3</sup> «Родник» № 10, 1988.

<sup>4</sup> «Родник» № 11, 1989.

<sup>5</sup> «Родник» № 9, 1989.

<sup>6</sup> «Искусство кино» № 6, 1989.



## ГЕОРГИЙ КИЗЕВАЛЬТЕР

# «ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ», ИЛИ: СУЩЕСТВУЮТ ЛИ «КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ»?

Итак, не прошло и одиннадцать лет со времени появления первой публикации о московской группе «Коллективные действия» в журнале «Флеш Арт» (№ 76/77, 1977), как мы получили возможность рассказать кое-что об этой группе читателям из Советского Союза. К сожалению, за указанный срок «Коллективные действия» сильно постарели, усохли и пообтрепались, но... «живы музы!».

Лелея в глубине души надежду, что интересующимся культурой и искусством известны термины «хеппенинг» и «перформанс» и хотя бы приблизительная история «живого искусства», что им знакомы имена Дж. Кейджа, А. Капроу, К. Олденбурга, М. Монк, И. Кляйна, Дж. Бойса, группы «Флаккус», «Движение» и др., я хотел бы без нудных вступлений перейти непосредственно к описанию деятельности группы.

Позволю себе лишь напомнить осведомленному читателю, что «хеппенинг», по определению М. Кирби, есть «элементы театрального представления, образующие в совокупности со спонтанным действием независимую структуру». «Перформанс» (или «событие», «акция») отличается от хэппенинга **необязатель-**

**ностью** вовлечения зрителей в творческое действо (т. е. публика играет в перформансе, как правило, пассивную роль).

«Коллективные действия» сформировались в 1976 г. Членами-основателями группы были четверо художников и поэтов: Н. Алексеев, А. Монастырский, Н. Панитков и автор данных заметок. Позднее, в 1979 г., к нам присоединились И. Макаревич, Е. Елагина и С. Ромашко. Кроме того, в наших перформансах-акциях в качестве зрителей и участников были задействованы также многие московские художники, литераторы, музыканты, состав которых менялся от акции к акции. Всего за 12 лет группа провела около 50 акций. В настоящий момент в работе группы фактически участвуют пять человек, но условность существования нашего объединения, продуцирующего 1—2 перформанса в год, ясна и всем оставшимся членам. Дело в том, что примерно с 1982 г. группа вступила в фазу «работы без интереса», когда «заорганизованность» акций исключила возможность творческих неожиданностей в том «исследовательском», нам самим до конца не понятном процессе, каким наши акции являлись ранее; когда перформансы

превратились в иллюстрации к жестко структурированным идеям, строго продуманные и «ясные», а потому ненужные продукты стерильных концепций. Мы как бы лишней раз подтвердили мысль К. Леви-Стросса о том, что «часто создается такое впечатление, что поскольку природа и структура произведения искусства подчинена определенным законам, их можно создавать, применяя эти законы или подражая им... Между тем истинная проблема художественного творчества состоит, видимо, в невозможности заранее мыслить себе его результат».

Первый «манифест» группы гласил: «Наша деятельность является духовной практикой, а не искусством в каком-либо коммерческом смысле. Каждая из наших акций представляет собой ритуальное действие, преследующее цель создания атмосферы сопереживания у участников. Сопереживание достигается с помощью архитипичных примитивных ритуальных символов-знаков. Наши работы могут быть рассмотрены как искусство только в качестве «камертона» для направления сознания за границы интеллекта. Все наши перформансы организуются на природе\* и могут быть адекватно интерпретированы с точки зрения эстетики только при непосредственном участии».

Метаязык теории несравненно беднее языка большинства наших работ. Перформанс можно уподобить разветвленной кровью норе, где сами действия являются только холмиками земли на поверхности, а обширная теоретическая основа, столь важная для понимания перформанса, спрятана от глаз глубоко под землей. Правильное прочтение наших работ по описательным текстам акций вряд ли возможно, ведь определяющим фактором восприятия перформанса является опыт сопереживания, соучастия.

#### «Н. ПАНИТКОВУ. (ТРИ ТЕМНОТЫ)»

Не зная, в чем заключается акция, Н. Панитков (Н. П. — далее) в дневное время пришел на заснеженную поляну в лесу. Устроители акции выкопали в снегу небольшую яму и поставили в нее стул. Н. П. сел на стул и был накрыт сверху щитом, положенным на вертикально укрепленные в снегу столбики (в углах ямы). Затем участники засыпали щит снегом, образовав снежный холм, внутри которого в темноте находился Н. П.

Предварительно участники договорились с Н. П. о том, что он должен встать со стула и поднять над собой щит сразу, как наступит тишина, — во время всего действия вокруг холма были включены на полную громкость шесть радиоприемников на разных волнах.

После того, как холм был выстроен, на него набросили черную светонепроницаемую ткань размером 4×4 м. С помощью веревок, привязанных к деревьям, и черной светонепроницаемой бумаги над холмом была построена «коробка» размером 5×4×2,5 м. Когда она была закончена, внутрь нее вошел участник с фотоаппаратом и вспышкой.

Затем все приемники были выключены.

Панитков встал со стула и поднял над собой щит, вскрывая таким образом первую темноту. При этом он должен был по-прежнему оставаться в темноте (II), накрытый светонепроницаемой тканью. Однако на деле ткань оказалась слишком мала и была сброшена Н. П. вместе с щитом. Итак, «стянув с себя» ткань, Н. П. по-прежнему остался в темноте (III, темнота коробки). Впрочем, из-за мельчайших дырочек в бумаге темнота коробки оказалась несколько светлее темноты холма. Затем Н. П. выскочил из коробки, прорвав ее стенку.

Моск. обл., ст. Снегири. 17 февр. 1980. А. Монастырский, Н. Алексеев, Е. Елагина, С. Ромашко, И. Макаревич, И. Яворский и др.

«М»

Приехавшие по приглашению зрители (23 человека) собрались на краю поля на площадке в виде трапеции (ее контуры были выложены сеном).

По командам одного из устроителей акции зрители один за другим (с интервалом в 5 минут) покидали площадку, минуя лежащий на выходе из нее магнитофон (1), который воспроизводил запись работы эскалатора метро — громкий вибрирующий ляг.

Двигаясь по дороге, пересекающей поле (около 500 м), они подходили к столику, установленному на середине пути. На столике лежали бинокль, свисток и прикрывающая стопку конвертов картонка с инструкцией. Под столиком, задрапированным фиолетовой тканью, находился магнитофон (2), фонограмма которого представляла собой документальную запись объявлений в

метро типа «Станция Кировская» и «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция площадь Ногина». Звучание каждого такого объявления было отделено от другого паузой тишины примерно в полторы минуты.

Текст инструкции:

«1. Возьмите бинокль и внимательно посмотрите на оставшихся на исходной позиции участников акции. Смотрите в бинокль не более 30 сек. (Примечание: Во время просмотра в бинокль зрители могли видеть стоящих по краям группы зрителей и немного выдвинутых вперед Паниткова и Монастырского, у каждого из которых на груди были повешены соответственно золотые крылья и серебряный шар небольших размеров, которые с исходной позиции видны не были.)

2. Положите бинокль на место и поднимите картонку, на которую наклеена эта инструкция. Из пачки конвертов, лежащих под картонкой, возьмите себе на память один верхний, положите в него лист с текстом. Затем накройте оставшиеся конверты картонкой с инструкцией. (Примечание: К каждому конверту, маркированному буквой «М» и подписанному «Коллективные действия», был приложен листок, в центре которого была надпись: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД ИЗДАЛИ НА ЗОЛТЫЕ КРЫЛЬЯ ПАНИТКОВА И СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР МОНАСТЫРСКОГО. Справа и слева от надписи находились эмблематические рисунки крыльев и шара, над которыми красным фломастером были надписаны маленькие буквы «м».)

3. Возьмите свисток и как можно громче свистните в него в сторону ближайшего леса, услышав ответный сигнал, положите свисток на место и идите на звук ответного сигнала».

В лесу, на расстоянии 150 метров от столика (далее по дороге) находился С. Летов с набором духовых инструментов (саксофоны, валторна, гобой, корнет и др.). Услышав звук свистка от столика, Летов начинал играть на одном из инструментов до тех пор, пока зритель не подходил к нему. Подойдя к Летову, зритель получал от него устное указание двигаться в глубь леса на следующий источник звука. На расстоянии 80 м от Летова в лесу находился магнитофон (3), воспроизводивший запись сильного шума и грохота, какой бывает внутри вагона метро при большой скорости движения. При подходе к магнитофону метров с 20 зрителю открывался вид на небольшую поляну, в центре которой, растянутая на лесках между деревьями, висела конструкция: двухметровые золотые крылья и под ними — серебряный шар (из фольги) диаметром полтора метра. Под шаром, скрытый сухой травой, лежал магнитофон (3).

При подходе зрителя к конструкции ему вручался лист с рисунком шара и крыльев и буквой «М» в середине, а по краям листа шла надпись: ОБЩИЙ ВЗГЛЯД С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ НА ЗОЛТЫЕ КРЫЛЬЯ И СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР КОЛЛЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ. Затем ему вручалась бархатная папка желтого цвета, на обложке которой была укреплена фурнитурная эмблема «золотые крылья», а внутри — схема звуковой топографии акции и ее фактография.

Сквозь сильный шум третьего магнитофона, зайдя за конструкцию в лес, зритель мог с трудом различить звуки скрипки, доносящиеся из глубины леса. При подходе зрителя к источнику звука он обнаружил магнитофон (4), воспроизводящий запись «Музыки на краю» — 45-минутная импровизация скрипки и фортепиано. Магнитофон-4 был углублен в лес от конструкции с шаром и крыльями на расстоянии 80 м.

Акция длилась два часа.

18 сентября 1983 г.

Моск. обл., Киевогорское поле.  
А. Монастырский, Н. Панитков, И. Макаревич, С. Летов, Е. Елагина, Т. Блудо, М. К., Н. Алексеев, И. Яворский, В. Гончарова, С. Ромашко, Г. К.

«РУССКИЙ МИР»

Приехавшие на место действия зрители (ок. 25 чел.) были проведены С. Ромашко по протоптанной в снегу тропинке через лес на поле, причем сам Ромашко, пропустив вперед всех зрителей, незаметно исчез.

На краю поля зрители остановились перед большим фиолетовым покрывалом, под которым угадывались очертания каких-то предметов. На покрывале стоял магнитофон, воспроизводящий фонограмму «рабочего момента» — звуков сколачивания каких-то досок, криков, ругани и т. п. Метрах в 100 от зрителей в поле неподвижно стоял А. Монастырский, одетый в железнодорожную шинель и наматывающий (практически неразличимо для зрителей) на т. н. «мягкую ручку», представлявшую собой картонный диск для подачи ручного сигнала — с одной стороны красного цвета, а с другой имеющий часовой циферблат, — моток шелковой нити.

Минут через 10 зрители стали различать сквозь шум фонограммы звуки ударов, доносящихся с правого фланга поля: метрах в

\* В дальнейшем мы проводили наши акции и в городе, и в домашней обстановке.



Андрей Монастырский. Фрагмент «Бочки».



Перформанс Гриши Брускина. «Социализм непобедим», ж. «Ноль Ноль»

250 от зрителей какой-то человек (С. Ромашко) ритмично и со все нарастающей силой пинал ногами довольно высокую деревянную конструкцию, а потом разбежался, повалил ее в снег и потащил через поле к дороге, откуда пришли зрители.

В это время Монастырский, медленно прокладывая себе путь по снежной целине, подошел к зрителям и откинул край тряпки, под которой оказались 10 предметов, выкрашенных белой краской: голова куклы, трость, дудка, гипсовая рука, стеклянная колба с пробкой и пр. Все эти предметы — вместе с коробками, на которых они стояли, — были вручены зрителям в качестве «подарков». Затем устроители акции повели зрителей обратно по тропинке через лес на правый край поля, где в 150 метрах от дороги в снегу был установлен 4-метровый белый фанерный заяц «Золотой аспид»: контур заячьей головы с ушами был зеркально (относительно горизонтальной умозрительной линии в самом узком месте шеи) спроецирован на тело зайца и обведен золотой краской, что имитировало изображение «золотого асида».

После того, как зрители с подарками сфотографировались на фоне фигуры зайца, она была повалена на снег, у зрителей отобрали подарки и сложили их на зайца. Затем Монастырский разбил тростью белую колбу, из которой вытекла черная жидкость (1 л подкрашенного бензина), и поджег все эти предметы. Когда заяц и «подарки» достаточно обгорели, устроители заросали «костер» снегом и покинули место действия. Акция продолжалась около часа.

17 марта 1985 г.

А. Монастырский, С. Ромашко, Е. Елагина, Г. Кизевальтер, И. Макаревич, М. К., Н. Панитков.

#### Серия акций «ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЧЕВОГО ПРОСТРАНСТВА»

В эту серию входят акции «Голоса», «Перевод», «Юпитер», «Бочка», «Обсуждение». Все они проводились в «квартирных» условиях. Как фон в отдельных акциях использовался визуальный ряд, подготовленный предварительно в городских условиях и на природе. Общим предметом изображения этих акций является речь (речевое пространство). К примеру, акция «Бочка» (31 мая 1985 г.) представляла собой полизакранный слайд-шоу, где при помощи ряда «ночных» черно-белых слайдов, снятых во время прогулки по ночному лесопарку; стробоскопического эффекта среднего проектора; 110-кратного повторения одной и той же фразы А. Монастырского (в магнитофонной записи);

оглушающей фонограммы качения железной бочки по шоссе, сопровождающейся серией слайдов 6 чудовищ («Ангелы тарта-ра»); столь же громкой фонограммы работы кассовых аппаратов в универсаме и других визуальных и аудиальных средств достигался сильный психоделический эффект. В ходе обсуждения, которым завершилась акция, зрители оказались как бы персонажами постановки, где дискутируется проблема степени допустимости художественного воздействия. Одни впали в агрессию и кричали: «Чудовищно, дайте таблетки!». Другие: «Все нормально, очень выразительно». Кое-кто от ужаса даже заснул...

В этих акциях группа провела как бы исследование (в рамках эстетического дискурса) границ идеологизированной речи, смешанной с наличным документализмом и миром толков и забот.

#### ВОРОТ.

К вращающейся трубе металлического ворота, врытого в землю на опушке леса, были привязаны деревья на разной высоте на противоположной стороне поля. Длина лесок составляла от 400 до 700 метров. После того как группе зрителей, собравшихся у ворота, были розданы партитуры предстоящего события (см. ниже), Н. Панитков начал вращать ворот, наматывая его на магнитофон. Лески постепенно наматывались на трубу, натягивались и лопались. Последняя леска лопнула спустя час после начала вращения ворота.

Действие началось при обычной осенней погоде, которая, однако, быстро поменялась: пошел крупный снег, затем поднялся ветер и начался сильный снегопад. К середине действия все поле покрылось густым туманом, небо потемнело. К концу действия снегопад прекратился, туман рассеялся, выглянуло солнце. Все поле было покрыто снегом.

«Партитура» представляла собой 2 листа черной китайской бумаги, скрепленных в виде книжечки. На обложке была наклеена этикетка с английским словом «performance» («исполнение»). На левой стороне разворота схематично, в виде гексаграммы Цянь (творчество), были изображены еще не разорванные 6 лесок. На правой стороне разворота лески были изображены разорванными в виде гексаграммы Кунь (исполнение).

27 октября 1985 г. Московская обл., Лобня. Киевогорское поле.

Н. Панитков, А. Монастырский, Е. Елагина, И. Макаревич, Г. Кизевальтер, В. Сальников.

#### ЛОЗУНГ-86.

Обсуждая текст Лозунга-86, мы не пришли к однозначному решению. Тогда Монастырский предложил сделать фотографию пейзажа, где «лозунг» удален в «невидимость» (как демонстрационную зону), то есть новый лозунг стал как бы следующим шагом после якутского лозунга Кизевальтера, который был помещен в «полосу неразличения». А за текст этого несуществующего лозунга он предложил принять текст предисловия к 4-му тому «Поездок за город», где речь идет об акции как о пространственно-временном событии, лишенном знаковой.

Приехав на место действия (край обрыва на берегу р. Вори), мы расстелили на земле большую физическую карту СССР и закрашили территорию СССР черным лаком. Затем мы заранее заготовленным трафаретом (рисунки И. Кабакова) из карты были вырезаны черные контуры совы и собаки. Украшив контуры совы и собаки золотыми и серебряными звездочками и кружками, мы приступили к изготовлению «детского секрета». Перед тем как начать рыть яму для «секрета», была сделана фотография пейзажа, в правом нижнем углу которой можно видеть место «секрета» (пейзаж-1).

Выкопав небольшую прямоугольную яму, мы положили на ее дно контур собаки и засыпали его слоем земли. Затем в яму был положен контур совы. В глазные прорезы совы были вставлены два зажженных китайских фонаря. Затем «секрет» был накрыт прозрачным стеклом с наложенным на него красным стеклом таким образом, что оно закрывало светящиеся фонари. После этого весь «секрет», за исключением двух мест, светящихся красным светом, был засыпан землей.

После изготовления «секрета» была сделана вторая фотография того же пейзажа (пейзаж-11), но место нахождения «секрета» на этой фотографии не видно. Затем мы ушли, а красные фонари в глазах совы горели еще какое-то время, пока не иссяк ток в батарейках.

Московская обл., ст. Калистово  
19 октября 1986 г.

А. Монастырский, Н. Панитков, Г. Кизевальтер, М. Константинова, И. Нахова.

О «Коллективных действиях» написано уже немало статей в самых различных изданиях (разумеется, зарубежных). Группа участвовала во многих выставках (большей частью, разумеется,



за «бугром», начиная с Венецианского биеннале 1977 г. За небольшими исключениями, экспонированные и описанные в публикациях перформансы относятся к первому, «интересному» и радостному для нас этапу «сопереживания». В этих заметках мне хотелось бы познакомить читателей с малоизвестными, но важными для нас акциями, большая часть которых относится ко второму периоду. Отличительными их чертами являются мрачность, суггестивность или затаенная мистика.

Мы проводили акции двух типов: со зрителями и без них. Зрители выступают в акциях в двух функциях: как субъекты и как объекты восприятия. Являясь в некоторых акциях частью материала перформанса в аспекте содержания и внутриконтруктивным элементом в аспекте формы, зритель функционирует в определенные моменты как предмет искусства по отношению к самому себе. В постановках со зрителями очевиден театральный принцип построения текста (его событийной части): в большинстве таких постановок на долю зрителей отводится только наблюдение за событием. Несмотря на эту «театрализованность», существенной чертой, отличающей такие акции от театральных представлений, является отсутствие персонажей-посредников: участники никого не изображают, их «посредническая» модальность — низшего уровня, сводимая к функции технических приспособлений, позволяющих организовать символизацию того или иного понятия, взятого из всеобщего языка в «чистом виде», т. е. вне контекстов, ассоциаций и прочих культурно-социальных оправ.

Постановки без зрителей преследуют ту же цель, что и постановки первого типа: организацию сопереживания некоторых простейших идей, — но уже в аспекте личного экзистенциального опыта.

Группа людей приглашена организаторами акции участвовать в каком-то неизвестном им действии: все, что происходит в подобной ситуации, можно разделить на происходящее в эмпирической сфере (по предварительному плану акции) и происходящее в сфере психического, т. е. на переживание того, что предваряет и сопутствует действию.

Нас в нашей работе интересовала именно область психического всякого рода предварительного, событий — тех, что происходят как бы «по краям» демонстрационного поля акции. За счет этого демонстрационное поле расширяется и становится предметом анализа: мы пытаемся обнаружить на нем зоны, обладающие определенными свойствами и взаимоотношениями. Эти свойства и отношения, как нам представляется, воздействуют на формирование уровня восприятия, на одном из которых может быть достигнуто переживание происходящего как происходящего главным образом «внутри» освобождающегося сознания — такова, в идеале, общая задача акции.

В этой связи, естественно, изменяется и отношение к сюжетам акции. Их мифологическое или символическое содержание не является важным относительно того уровня восприятия, для создания которого сюжет — как один из конструктивных элементов — используется в качестве инструмента.

Однако любое действие на демонстрационном поле — как бы оно ни было минимально — влечет за собой интерпретацию, и на один метафорический слой самого демонстрационного поля ложится еще один, а именно зритель начинает думать, что означает то или иное действие, и в конце концов «обнаруживает» его мифологическое или какое-нибудь иное содержание. Во время проведения акций необходимость «проинтерпретировать» осуществляется в форме определенно направленного, причем заведомо для организаторов акции ложного, понимания. Одним из способов детерминирования сознания зрителей является введение внедемонстрационного элемента, действие которого поддерживает уровень переживания и создает впечатление неопределенности временного конца акции. Введение такого элемента в демонстрационную структуру на различных этапах постановки и его протекание во времени мы называли «пустым действием».

Можно определить «пустое действие» как определенный временной отрезок акции, когда зрители неправильно понимают или «напряженно не понимают», что происходит. Те средства-события, с помощью которых реализуется «пустое действие» (повлечение, исчезновение, удаление, раздвоение и т. п.), не только создают условия для медитации на уровне прямого восприятия, но и становятся ее темой. Иначе говоря, «пустое действие», на наш взгляд, обеспечивает условия для создания — через непонимание — ситуации сопереживания этих простейших понятий и для объективизации (на какое-то время) зрительского сознания.

Мы использовали три средства для обеспечения чистоты «сопереживания» во время акции и подготовки зрителей к восприятию события. Во-первых, это форма приглашения, или предварительная инструкция; во-вторых, это пространственно-временные

особенности путешествия к месту события, когда зритель «освобождается» от всех прочих забот и обыденных психических «установок»; в-третьих, это выбор места проведения акции — на природе, где мы можем снять «остаточное напряжение», накопленное в сознании зрителей в урбанистической среде. В связи с вышесказанным следует упомянуть и ту особенность наших работ, что акции «начинались» задолго до их демонстрационной фазы, а именно в момент получения приглашения, и могли заканчиваться (в зависимости от замыслов авторов) в самое различное время после ухода зрителей с места действия.

Таковы общие теоретические положения, разработанные нами к концу первого, «интересного» периода. В сущности, они применимы ко всем акциям, хотя кое-что нуждается в дополнении.

Так, например, проведение серии акций «Перспективы речевого пространства» позволило выделить прочие перформансы, проведенные на природе, в особый жанр «поездок за город». Этот жанр как род эстетической деятельности был активизирован способом отрицания. Основная задача «домашних» акций, помимо внутренних проблем и задач, — вызвать у зрителей «ностальгию» по «поездкам за город» через... отрицательные эмоции. И поддержание нами традиции поездок, совершаемых группой время от времени с одним и тем же составом зрителей, — залог того, чтобы поездки не обесценивались, не профанировались, при том, что перформансы и могут строиться по принципу «ничего не показывать, но сделать это так, чтобы возникло ощущение экзистенциально-эстетического удовлетворения» (А. Монастырский). И действительно, агрессивность, тавтологичность и вообще удушливая атмосфера «домашних» акций выявили у зрителей безусловное предпочтительнее просторности и привлекательности мира «загородных» акций как особого вида деятельности на границе эстетического и непосредственного.

Кроме того, изменилась «предметная зона» демонстрационного поля новых акций. Прежде предметы в наших акциях выполняли функции приспособлений для создания определенных эффектов восприятия или фактографических знаков, вручаемых после акции зрителям. Специфика предметов акции периода 1983—1985 гг. — в их эстетической самостоятельности; они могут экспонироваться и без сопроводительной документации, т. е. вне эстетического поля действия. Эти предметы можно разделить на две группы: «сияния» (бело-золотые предметы) и «провалы» (черные предметы) с недвусмысленно символическим значением.

Помимо хорошо знакомых и «отработанных» эстетических понятий, перечисленных выше, демонстрационные зоны некоторых приведенных акций связаны с проблемой «ритмов восприятия» — это «повторение» (серия «Перспективы речевого пространства») и «незаметность» («Мягкая ручка» из «Русского мира» и «Бочки»). Художественному («фоновому») материалу этих акций (кроме «Паниткову») свойственны и психопатологические черты (тавтология, аутизм, амбивалентность и т. п.), что является спецификой современного трансавангарда.

В предисловии ко второму тому «Поездок за город» (так мы назвали наши книги-отчеты) А. Монастырский написал: «Вероятно, каждая эпоха обладает определенными, исчерпывающимися силами и средствами для того, чтобы... продвинуться в сторону хаоса тем или иным способом на то или иное «расстояние». Изменение способа продвижения рождает новую эпоху. Тот, что сейчас происходит в искусстве, а именно интерес к «живой» фактуре, говорит о наступлении новой эпохи. Эпоха непосредственной заинтересованности в структурах и в «Ничто», по видимому, закончилась, так как сама в себе выявила «неинтересность» как качество, присущее ей на этом этапе ее дискурсивного развертывания... Правда, мы можем сослаться на особенность нашего положения, т. е. что наши эстетико-психологические разработки столкнулись с «неинтересностью» в ее, так сказать, абсолютном значении, — ведь мы занимаемся проблемой самого «Ничто», «пустоты», а там, где есть «Ничто», пусть даже его проявление сопровождается высокой степенью «неинтересности», всегда есть что-то, какое-то новое сущее в такой же своей абсолютной «новости», как и «неинтересность».

И в заключение хочу сказать, что поэтика «Коллективных действий» восходит к тем явлениям культуры, в которых наиболее важными были области, лежавшие за пределами рассудка. Затаенный эффект наших работ можно сравнить с эффектом дзен-буддистских коанов — загадок, содержащих вопрос, в котором заключен и не прямой ответ, обнаруживающийся лишь при условии определенной интеллектуальной работы. Здесь смысл внашивается, а не описывается. Суперструктурность и рассудочность — это тот внешний «защитный» слой акции, который нужно преодолеть, чтобы добраться до сути. Через игру, через конструирование нам самим непонятных до конца ситуаций мы ощущали реалии объективного мира.

Июль 1983 года.

# АНСИС ЗУНДЕ ЧЕМ ОСОЗНАЕТСЯ «НАША» ЖИЗНЬ?

Ни одна философская концепция не является человечесоразмерной, не имеет человеческого лица, если она не дает честных и объективных ответов на вопросы, связанные с жизнью и со смертью. В этом смысле можно сказать, что философствовать — значит учиться тому, как следует умирать. «Но, — пишет И. Т. Фролов, — для того, чтобы понять, «что такое смерть», необходимо понять, «что такое жизнь». А для этого, в свою очередь, необходимо иметь ясное представление о том, что собой представляет наш язык, окружающая нас среда, что собой представляем мы сами, наши этические концепции, наша психология, наука в целом и т. д.»<sup>1</sup> Однако честные ответы получаются только на честные вопросы; достоинство вопрошающего предопределяет как достоинства, так и издержки ответа, которым в данном случае человек обращается прежде всего сам к себе. (В любом случае жизнь и смерть — даже т. наз. «жизнь вообще» и «смерть вообще» — это соответственно «моя» смерть и «моя» жизнь.) К тому же есть различные коммуникативные ситуации: в одной из них этими вопросами можно, например, вполне даже «честно» пошутить, в другой любые философствующие «шутки плохи», в третьей наши вопросы звучат в тональности Понтия Пилата и т. д. Чем же определяется весь спектр возможных подходов и ответов?

Пытаясь развернуть круг этих вопросов, я буду предлагать читателю ряд квазипредметов и некоторые преобразования, совершаемые над ними с тем, чтобы хоть на минуту «сделать зримым» то, что в действительности зримым не является, — «нашу» жизнь, как раз утаивающуюся в формах зримости.

Чаще всего наш язык, окружающая нас жизненная среда, мир переживаний и научная картина мира, одним словом — культурно-исторические формы (дистинкции и интенции) нашей жизнедеятельности, до и помимо любого философского исследования, сами уже намагнитились и сориентировались относительно идеальных полюсов смыслового континуума жизни — таких полюсов, как Добро и Зло, Красота и Безобразие, Истина и Ложь. Поэтому мы тут имеем дело с уже преднайденным и весьма плотным семиотическим полем, которое изнутри, вполне естественным (в смысле Марксова понятия «второй природы») способом сама инсценирует и вопрос «что такое жизнь?», и спектр возможных ответов.<sup>2</sup> Здесь жизнь предстает перед нами в качестве очевидной и **данной** — принципиально понятной и уже понятой. Наш вопрос и получаемый ответ выполняют здесь функцию внутрижизненной рефлексии, являющейся условием экстенсивного (в рамках уже преднайденной и определенной меры) воспроизводства жизни, а не результатом объективного исследования.

Эта внутрижизненная рефлексия, или «судьбоносная» риторика, является специфической стихией любой «философии жизни». При наличии благоприятных социокультурных условий в роли философии жизни объективно может оказаться и определенным образом адаптированное материалистическое понимание истории. Если внутрижизненной риторике удастся заслонить собственно историю как материально- и духовнопрактический процесс, который обременен неизбежностью непредсказуемого, тогда имеются все основания вслед за В. Дильтеем утверждать, что «жизнь постигает здесь жизнь»<sup>3</sup>. Она ясна силою своего собственного смыслоизлучения, не требующего, а то и воспрещающего теоретическое объяснение и изучение.

Это может показаться парадоксом, но «праздник жизни» (Гегель), ее **полнота** осуществляется не в безудержном ее «дополнении» все новыми и новыми рефлексивно-объяснительными позициями и метапозициями, а, наоборот — **минимизации**, или, по меньшей мере, в строгом цензу-

ровании рефлексии вообще, в утверждении логической «фигуры содержательного молчания», упраздняющего любое сугубо мета-физическое и «лично-отсебятинное» философствование. Самодостаточная, ослепительно очевидная, до крови откровенная и уже понятая «Жизнь» в своей любви к философии аскетична и риторична — ей всегда кажется, что философия «витает в облаках» и не соответствует ее «запросам». Оказавшаяся всецело внутри так понятой жизни, философия вынуждена довольствоваться шлифованием ритуальных формул воспроизведения (а не углубления) данного жизнепонимания — сакрализованных формул, конкретно-жизненное содержание которых или уже забыто, или сознательно вытесняется как источник всякого «упадочнического настроения». Философия истории с бойким своим оптимизмом оказывается частью идеологического механизма **засекречивания** не только экзистенциальной тематики, но и самой жизни и смерти как культурно артикулированных форм человеческого бытия в мире.<sup>4</sup>

Декультуризация и засекречивание — под предлогом, например, **государственной тайны** — жизни и смерти суть технический способ, которым пытаются сохранить иллюзию **священной тайны** там, где ее давно уже нет; вся внутрижизненная рациональность коренится в том, что окружающая человека действительность предстает как выполнение понятного и невыполнение (небытие) непонятого («это не так потому, что этого быть не может», но тем не менее растет число самоубийств, преступности, брошенных детей и брошенных родителей). Таким образом, выполнение или бытие жизни и смерти оказывается в плену у определенным образом выстраивающегося сознания (хотя именно против этого выступает любая «философия жизни»). Независимо от того, действительно (действительно) ли озабочено это сознание поддержанием и приумножением жизни, или оно просто галлюцинирует себе абстрактную «задачу» или «вызов жизни», — получается, что жизнь может быть задана человеку только через само сознание. Своей абстрактной всеобщностью и кажущейся непосредственностью это сознание не только высвечивает, но и заслоняет своим светом все другие, несветящиеся формы человеческой жизнедеятельности, и, таким образом, понимание жизни здесь ставится в зависимость от того, как мы уже (пред)понимали сознание.

Данное положение дел весьма подозрительно не только с точки зрения общеизвестных азбучно-материалистических канонных, но и с точки зрения собственной личностной интуиции жизни: при такой «гегемонии» сознания любые дополнительные усилия выявления смыслостроения человеческой жизни действительно могут оказаться бегством от жизни, или, по меньшей мере, — проявлением «боязни отпущенной нам жизни». Однако еще более подозрительной является постановка вопроса о том, как **сделать** (= высветить? просветить? раскрыть?) общественную жизнь таковой, чтобы ее понимание уже не зависело бы от нашего понимания сознания. Невозможно изменить жизнь, оставив себя, внутреннее строение своей субъектности, свое сознание и свою «философию жизни» неизменными, — в полагаемом сугубо по-нашенски и сызнова выстроенном мире **правомерна** лишь одна перспектива: «Философия за борт!» — «Культуру за борт!» — «Собственную жизнь за борт!». Если философия хочет быть диалектической и материалистической, оставаясь в пределах внутрижизненной риторики (но эти вещи несовместимы), ее оптимизм превращается в катализатор и квинтэссенцию жизненной лжи — философствование о большой «Жизни» здесь оборачивается «лжизнью», а то и самоубийством.

Однако избежать жизни невозможно ни философской «лжизнью», ни даже самоубийством: умершие «живы



и при том, — писал Цицерон, — они живут той жизнью, которая одна только и заслуживает название жизни». Трагедия «лжизни» — т. е. тема неотвратимо надвигающейся социально-онтологической лжи личностной жизни и человеческое противостояние этому, его попытки свою ложь не только душой переживать, но и пере-жить духовно-практически, переступить и пересилить ее, хотя бы самоубийством<sup>6</sup> — существенно раздвигает рамки внутри-жизненной рефлексии жизни. Она, эта трагедия, вводит в наши рассуждения

— расширенное, но вместе с тем и менее жесткое представление жизни, которая, кстати сказать, не перестает быть «моей», но уже в каком-то совершенно другом смысле; при этом жизнь и смерть перестают быть дуальными противоположностями;

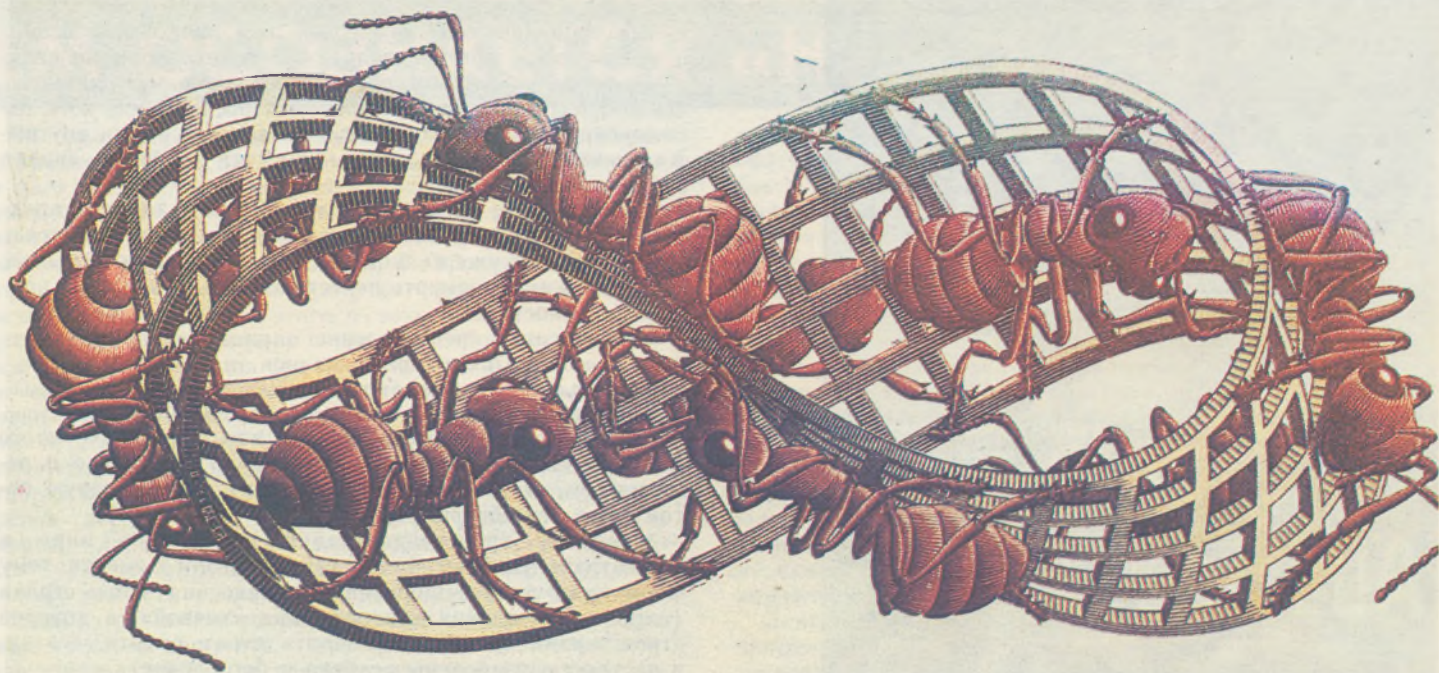
— расширенное представление о рациональности; «сознательная смерть» и скрывающаяся за ней «действительная жизнь» явно выступают как *оборачивание* внутрижизненной рациональности, т. е. — как выполнение непонятого и невыполнение понятого; вместо догматического «этого нет, ибо быть не может» выдвигается (не только в религиозном, но и в научном сознании) кредо: «верую потому, что это абсурд»;

— проблему трансцендирования жизненного мира и ее центральную тему — тему страха жизни / смерти, тему форм культурного приручения и освоения этого страха (напр. установления контроля над «точкой», в которой страх жизни мог бы пересилить страх смерти, — этим, в частности, озабочены религия и богословие).

Именно поэтому боязнь и страх отпущенной нам жизни / смерти — раз мы его переживаем — нельзя обойти и философу, чтобы не предаваться (анти)интеллектуальной панике и вообще жить духовно, несмотря даже на то, что он по существу оказался «в ложном положении». Внутреннее строение нашего предметно-представляющего сознания, ориентирующегося преимущественно не объективное познание и «знание-силу», исторически сложилась как раз на почве страха отпущенной нам (и распущенной нами) жизни — на почве боязни того сейсмически активного, ренессансно-вулканического жизнетворчества, оборотной стороной которого оказались кровавый Титанизм, охота на «ведьм», массовые психозы и смерть. Чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить онтологические допущения, которые делали возможным *незаметный* переход к этой «оборотной стороне» ренессансного сознания, с теми онтологическими преобразованиями мыслительного пространства, которые установили другого типа связь «лицевой» (осознанной) и «изнаночной» (бессознательной) стороны сознания в культуре Нового времени. Данный вопрос особенно актуален в условиях современной перестройки общественной жизни, когда говорят — уже в который раз — о необходимости «возрождения Возрождения».

Ренессансная культура отвергала принципиальное для средневековой онтологии разграничение имманентного и трансцендентного, разрушая ее статическую иерархию бытия. Парадигмой мышления и действия теперь становится свето-теневое родство и взаимопроникание всех противоположностей: знания и суеверия, добра и зла, сна и бодрствования, Бога и Дьявола, культурного Героя и Трикстера, жизни и смерти и т. д. и т. п. Именно промужучность является настоящей стихией «Могучь!», как квинтэссенция ренессансного жизнепереживания. Без динамического равновесия разных начал и разных принципов, без «странной логической вибрации между ними, — пишет Л. М. Баткин, — потерялась бы необходимость *героического* конструирования»<sup>7</sup>, исчезла бы потребность для этого онтологическая посылка. Эта онтология возможна только в виде процесса, она сплошь процессуальна: здесь существенно не то, «на каких местах поставлены бог, человек и поднебесный мир, а то, что всё и вся сдвигается со своих мест, меняется местами во встречных потоках света и любви, в грандиозной мистико-энергетической циркуляции вселенной».

Мыслимо ли вообще такое онтологическое «панибрат-



Фоторепродукции АНДРИСА КРИЕВИНЬША

ствование» имманентного и трансцендентного, сознательного и бессознательного, жизни и смерти?

В качестве метафоры для представления возможности всего этого мы можем вообразить некоторое скручивающееся пространство, приобретающее топологию кольца Мебиуса. В таком пространстве средневековая трансцендентность — мистически истекающий жизнью Бог — совершенно плавно и незаметно становится самым близким, но именно в своей близости и простоте потаенным предметом, который не может быть изменен или как-то иначе определен посредством сложной «инаковости», которая вокруг человека. Непостижимое и постигаемое должно непостижимо: «оно вкушается невкушаемо... только в отдалении, подобно тому, как какой-либо запах можно назвать предвкушением невкушаемого». Именно это, продолжает Николай Кузанский, является для человека «самым желанным познанием, как если бы кто-то обладал сокровищем своей жизни и пришел бы к знанию того, что это его сокровище не поддается счету... это и есть сладчайшая постижимость непостижимости».<sup>10</sup> В этом, по Кузанскому, и состоит ученое незнание: знание того, что существует абсолютно несоизмеримое, и знание непостижимости этой бесконечности.

Ученое незнание как высшая ступень любого познания вообще доступно не надменному философу — все равно, соблюдает ли он античный принцип *bios theoreticos* или является средневековым «метафизиком внутреннего опыта», — а смиренному Простецу (Бог тоже, как выше отмечено, — близок и «прост»). Он обращается к весам или к другому инструменту и начинает практическое дело, опытное познание. Однако первоначальное накопление капитала, начало эры машинного и массового производства привело к деградации Простеца-Мастера, во многом лишило ручную работу магического ореола. Личностно-интимное «знание-спасение» было вынуждено уступить место идее «коллективного спасения» — на передний план практики Нового времени выдвигалась экспериментальная наука, овещенное и абстрактно-всеобщее «знание-сила». Исходя из потребностей развития этой науки, техники и институализации всей социальной жизни в основу культуры кладется идеал эмпирически задаваемой и контролируемой методики, которая может повторяться и рационально со-

общаться другим людям — массе Специалистов (к тому же Специалистом по определенной части нового жизненного мира, а именно по части, называемой «Я», теперь становится каждый взрослый и социально здоровый человек). Рациональный метод — это гносеологический, этический и социально-политический императив данной эпохи.

В поисках такой методики вся ренессансная «полнота жизни» — онтологическая раскрепощенность человеческого тела и души, ренессансное «всеведение», включающее и много неупрежденное, маловероятного, — все это подвергалось сомнению. «Вполне может оказаться, что весь мир, все традиции и, — рассуждает Р. Декарт, — я сам — лишь одно сновидение. Но тем не менее, пусть даже бог, хитрый и могущественный обманщик, обманывает меня во всем, включая реальность моего тела, — даже и в таком случае несомненно, что я существую, если он меня обманывает; и пусть он меня обманывает, сколько ему угодно, он все-таки никогда не сможет сделать, чтобы я был ничем, пока я буду думать, что я нечто... Положение «я есть, я существую» неизбежно истинно всякий раз, как я его произношу или постигаю умом».<sup>11</sup> Можно сомневаться во всем, но, утверждает Декарт, невозможно сомневаться, что я, сомневающийся (=рефлексивно испытывающий «боязнь жизни». — А. З.), существую. В этом заключается абсолютно достоверное знание и первое абсолютно достоверное бытие («Я»), позволяющее вообще обосновать идею антологии как учение «о бытии как таковом, независимо от субъекта и его деятельности» (Р. Гоклениус).

Дистинкция «онтологии» и «сogito» позволила науке перестроить унаследованную и необходимую ей «бритву Оккама»<sup>12</sup> (которая требовала достаточно искусного Мастера-брадобрея) в более надежный и общедоступный инструмент — «ножницы». В самом деле: «онтология» и «сogito» как две посредством конструктора «Бог» взаимосвязанные и встречно смыкающиеся интенции составляют интеллигибельные ножницы, **перерезающие** Мебиусовское кольцо — топологию ренессансного «панибратствования» и таким образом превращающие эту скрученную поверхность в плоскость Эвклидовой геометрии. Если до этого весь массив жизненного опыта «писался» на актуально бесконечный лист, не имеющий различия ни верха и низа, ни левой и правой стороны, то теперь перед нами по-

тенциально бесконечная двусторонняя плоскость, не позволяющая плавно переместиться с одной стороны на другую. Таким образом, появляется предпосылка для четкого разграничения истины изображения, добра и зла, красоты и безобразия, для разведения областей логики и психологии, сознательного и бессознательного, политически правильного и неправильного, правового и преступного, а также — царства живых и царства мертвых. (Разумеется, данная предпосылка потом в каждой из упомянутых областей жизнедеятельности находит свое особое закрепление и выражение, но для данной статьи важно установить именно исходную абстракцию — эту разрезающую связь, — скрепляющую собой всю европейскую культуру Нового времени.)

Разрезающее смыкание ножниц, «очистив, пригладив и выровнив площадь ума»,<sup>13</sup> насаждает в ней диктатуру бесстрашного (а в прагматическом своем вырождении — равнодушного) по отношению к целостной жизни/смерти протестантизма. «Святой дух, — писал М. Лютер, — не скептик, и начертал он в наших сердцах не сомнения да размышления, а определенные утверждения, которые крепче самой жизни, и всяческого слова».<sup>14</sup> Однако таких сверхмощных утверждений — как, например, знаменитое кредо «На этом стою и иначе не могу!» — можно разъяснять только задним числом, т. е. тогда, когда уже имеется хоть какой-то простор для трезвых выкладок, какое-то место для «... могу и иначе!». Именно таким «задним числом» и «задним умом» пришел Декарт, позволяющий нам в терминах своего *cogito (ergo sum)* сформулировать позицию Лютера как *sum (ergo cogito)*. Таким образом, пара Лютер и Декарт — это начало и завершение единого, одного и того же жизнестроительного поступка, разрывающего с ренессансной неустойчивостью, трагической зыбкостью человеческой жизни.

Любой поступок, «как двуликий Янус», глядит в разные стороны: в объективное единство культурной области и в неповторимую единственность переживаемой жизни».<sup>15</sup> В нашем случае на долю Лютера выпала эта неповторимая единственность мужественного **переживания** (смыслового преодоления) переживаний и страстей ренессансного мира, а на долю Декарта — восстановление объективного единства культурной области, женственное **переживание** — заживление того, что было пережито реформацией. Таким образом, одно лицо нашего поступка-Януса, смотрящее вправо, т. е. вперед в будущее, — это лицо Мартина Лютера, а другое лицо, смотрящее влево, т. е. назад в прошлое, — лицо Рене Декарта.

Двуликость данного поступка соответствует двуликости, разорванности выкроенной посредством «ножниц» новой онтологии человека. Как известно, вся его сознательная жизнь и жизненное сознание, вся человеческая культура вообще, в любую эпоху, характеризуется функциональной асимметрией. Но в данном случае (и в еще большей мере это относится к современности) мы сталкиваемся с тем, что функциональная асимметрия как бы выталкивается из области природных (в смысле Марксова понятия «второй природы») автономных изображений/выражений человеческой природы и возводится в ранг **технического** принципа проектирования и возделывания — вторичного и даже третичного сверх-окультуривания человека. Такой ход таит в себе что-то сурово-аскетическое и роковое.

Техническое «окультуривание» человека посредством «ножниц» (особенно выразительно это получается под воздвигнутым лозунгом «Пусть расцветут все цветы!») суть не что иное, как непрерывные практические занятия на тему «как (каждому самому!) следует умирать». И приводят эти «философско-практические занятия» к тому, что жизнь (еще «прижизненно») умирает и **начинает жить смерть** — некий «*homo insensilis*», словно бы выведенный на ферме декоративного человеководства, человек без страдания, сочувствия, разумеющий как робот, запрограммированный на безжалостную эффективность. Всё это вполне закономерно, так как у людей больше нет той счастливой возможности, каковая имеется у существ, жи-

вущих в Мёбиусовском мире. Там каждый, обойдя всё кольцо и возвращаясь в исходную точку, оказался «головой вниз», и он был вынужден обойти весь мир еще раз, если хотел, чтобы «исходная точка» соответствовала «исходной позе» (т. е. стоять опять «на ногах», на полу, а не на потолке). После перерезания Мёбиотопии все люди априорно разделяются — и это у них словно на лбу напечатано — на тех, которые стоят прочно на ногах, на земле («материалисты», «рабочий класс», «красные», ренессансный Простец, «деловые люди», «физики»), и те, которые стоят «на голове» («идеалисты», «гнилая интеллигенция», «белые», «не от мира сего лирики»). Они уже онтологически лишены возможности занимать позу («на голове» или «на ногах») и точку зрения своего оппонента. Поэтому диалогические отношения (беспричинная любовь, великодушие и т. п.) между ними возможны только нелегально и с привлечением трансцендентных «реалий» как ноуменальной почвы, общей им обоим. В повседневном же общении здесь властвует воинствующий, т. е. смертоносный монолог.

Когда начинает жить смерть, тогда целостность, полнота и вся мощь жизни опять становится трансцендентной по отношению к «легальному» рефлексивному опыту — ножницами в принципе predeterminedена реставрация структуры средневекового мироустройства, которая теперь, правда, предельно упрощена и рефлексивно просвечена (вплоть до устранения Бога как рефлексивного перводвижателя избыточной для опыта гипотезы, или просто прагматического к нему отношения). Когито-онтологические ножницы разрезают и отчуждают «индивидуальность не только людей, но и вещей»,<sup>16</sup> всю духовную жизненность человеческого мира, отчуждает любую интимность, веру. Но зато переакцентирует безличный расчет «траекторий» в Декартовом пространстве. Сознательное увеличение этой асимметрии приводит к тому, что единая жизнь полностью заграждается цепью мертвых ее объективаций, т. е. над-индивидуальной «Историей».

С точки зрения над-индивидуальной «Истории» любая индивидуальность — это действительно «сфера случайного, так как только всеобщее есть необходимое. Отдельные души отличаются друг от друга бесконечным множеством случайных модификаций. Но эта бесконечность представляет собой род дурной бесконечности. Свообразию человека, — продолжает Гегель, — не следует поэтому придавать чрезмерно большое значение. Скорее следует считать пустой, бессодержательной болтовней то утверждение, что учитель должен заботливо сообразоваться с индивидуальностью каждого из своих учеников».<sup>17</sup>

Хотя сегодня исповедываются другие педагогические и другие философско-онтологические принципы, тем не менее ложное уравнение:

«индивидуальное = случайное = не-необходимое = незнание»,

подкрепляющее и радикализирующее другое, столь же ложное уравнение:

«всеобщее = индивидуальное = необходимое = знание = сознание = общественное = государственное»

не истратило свой кредит доверия. Точка зрения «истории» продолжает властвовать над жизнью, так как наивно-оптимистическая «Историческая Необходимость» помогает оглушить наш вполне естественный страх распахнувшейся в дурную бесконечность жизни, помогает укрощать, о-пределивать эту бесконечность, внести в нее иллюзию округляющего эстезиса (чувственно упорядоченного «космоса»). С подключением фильтра «История» мы настраиваем и стабилизируем несущее нас по жизненным тропам сознание на волну естественной (наивной) установки, но в то же время чувствуя, что жизни никак не избежать, мы испещерываем её иррациональными (в ситуации «очищенной, приглаженной и выровненной площади ума» иррациональными) «жизнеубежищами»: эстетизмом, этизмом и теоретизмом как самодостаточными формами духовности.<sup>18</sup> То есть мы себе внушаем, что наше сознание наивнее, нежели можно было бы ожидать. (Кста-

ти сказать, это стремление обыграть сознание четко подмечил в своей философской сказке Ф. Искандер, говоря о том, что «несмертельная доза совести» очень полезна для выполнения деликатнейших поручений; по-видимому, так же обстоит дело и с «несмертельными дозами» знания, эстетического чувства и других человеческих качеств.)

Здесь вырисовывается связка «жизнь — История — сознание».

Когда так часто мы слышим классический тезис, согласно которому сознание есть осознанное бытие, что же под этим обычно подразумевается? Подумали ли мы именно так, как сказали, т. е. — что **сознание есть бытие?** К сожалению, не всегда — в традиционной, сформировавшейся в первой половине 1930-х гг. системе диалектического материализма под «осознанным бытием» имеется в виду отраженное содержание внешнего, лежащего вне сознания, но вышеуказанным способом уже «приглаженного» бытия. Это сознание, как у Декарта,

— знает все знаемое только как *res extensa*;

— знает эти свои состояния знания как *res cogitans*, т. е. имеет, как и у Дж. Локка, «внутреннее восприятие деятельности нашего ума, когда он занимается приобретенными им идеями;<sup>20</sup> без такой рефлексии никакой опыт не имеет статуса знания.

Способ бытия самого сознания здесь сводится, по существу, к внутрисодержательной рефлексии осознания массива знаний, или опыта вообще. Эта рефлексия своим гносеологическим рефлексом субъекто-объектной артикуляции выбрасывает сознание (то же самое, через «Я» изливающееся сознание-жизнесомнение, которое, как было подчеркнуто, является первым абсолютно достоверным бытием) вне «приглаженной» плоскости бытия. Единственным местом, вернее, «не-местом», или «а-топосом», в котором *res extensa* скрещиваются с *res cogitans*, — это трансцендентная (для дурной бесконечности трансцендентная) грань разреза-перепада с «правой», рефлексивно высветленной стороны на «левую», находящуюся в бессознательном сне сторону перерезанного жизненного мира. Как видно, вопрос о бытии сознания становится в буквальном смысле «на ребро»: сознание — это не психическое и не физическое, оно является мета-физическим со-бытием бытия физических явлений — ясным и в себе отчетливым со-бытием, которое «не нуждается ни в каком месте и не зависит ни от какой материальной вещи».<sup>21</sup> Нуждается же оно только в конструкторе «Бог» как центр ножи.

Ножицы эти не могут не резать — не чистить, не приглаживать, не приравнивать. Если же вопреки этому дифференциальные формы духовности («жизнеубежища», или «духовное подполье») — пусть и совсем в «несмертельных дозах» — все-таки остаются в сохранности, приходится считать, что мы, находясь в состоянии «сознание», автоматически переключаемся на такое состояние (или режим) жизни, которое можно обозначить термином «не-жизнь». И наоборот, находясь в жизненном состоянии «жизнь» значит быть не в состоянии «сознание». Это обратное соотношение заложено уже в самом акте отнюдь не безобидного самоопределения сознания как «когитального» испытания всего массива жизненного опыта человека.

Последовательно проводимое аскетическое испытание человеческого жизненного опыта доходит до испытания всей его природы и даже духовного рождения. В этих целях — при наличии определенных социокультурных условий, которые в рамках данной статьи конкретизировать не будут, вводится еще более надежный и общедоступный «культустроительный» инструмент, чем наши интеллигентные «ножицы». «В одном уральском городе в музее художественного литья, — пишет Ю. Феофанов, — я увидел искусно сделанный, украшенный насечкой **топор**. Подарок областной партконференции 1929-го или 1930-го года. На правом лезвии насечка — «руби правый уклон», на левом — «руби левый уклон», на обухе — «бей по примиренцам». Символический подарок перед общественным форумом. Даже молчать было рискованно, по тем меркам

преступно — «бей по примиренцам». В сущности это отсутствие какого бы то ни было выбора, недопустимость даже мысли о выборе. Что в свою очередь исключало место для сомнений (для наших «ножиц». — А. З.)».<sup>22</sup> В процессе такого испытания «топором» внешние условия жизни, всё социокультурное тело общественной жизни, разбиваясь по всей его длине, подлинно выказывает и высказывает свою природную («материальную») страдательность и смертность. Теоретическая **заданность** («вызов») жизни обращается **ее загаданностью** и безотказным оракульским гаданием по раскрытым внутренностям: вот я — вся «наличными» — теоретически раскрываемая, предсказываемая и проектируемая (д)жизнь — тьматерия.<sup>23</sup>

Однако никаким «понятием жизни» понять жизнь (= разбудить и приумножить собственные жизнетворительные способности) невозможно; любое понятие суть техническое средство, но ведь жизнь — это не только «дело техники». Ей характерна своя автономная поэзия, и поэтому жизнь на сознание без остатка не делится. Жизнь, строго говоря, не делится и на историю, тем менее — на «Историю». Отождествление своей жизни с «Историей» неминуемо порождает «лжизнь», в которой — предложив себя в качестве разделяемой на сознание и материю — жизнь играет с нами как минимум в прятки (а то и более жестокие игры). Понимание человеком условий игры — это не теоретическое суждение о тактике, а тактический **поступок**, вносящий живые последствия даже в ситуации «лжизни». Если только жизнь вообще «делится», она делится на органичные, целостные поступки. Поэтому не зря К. Маркс требовал: «Да будет мне дозволено обозреть мои дела так, как я рассматриваю вообще **жизнь**, — как выражение **духовного деяния**».

<sup>1</sup> Фролов И. Т. О жизни, смерти и бессмертии. Этюды нового (реального) гуманизма. // «Вопросы философии» № 2, 1983, с. 62.

<sup>2</sup> Сама языковая форма данного вопроса уже навязывает нам некоторые необязательные допущения: 1) что жизнь вообще-то есть и 2) что она есть какое-то определенное нечто (как предмет созерцания).

<sup>3</sup> Dilthey W. Gesammelte Schriften. Bd VII. München. 1957—1958. S. 136.

<sup>4</sup> «Диву дался Буранный Едигей — на кладбище всё равно что на собрании каком: перед покойником в гробу выступали по бумагам ораторы и говорили все об одном и том же — кем он работал, на каких должностях и как работал, кому служил и как служил... И ни один из них не удосужился сказать нечто о смерти, как сказано то в молитвах, венчающих познание людей от века в той череде бытия и небытия...» (Айтматов Ч. И долгие века длится день. гл. 5. — Рига: Лиесма, 1986, с. 387).

<sup>5</sup> Цицнерон М.-Т. — М., 1975, с. 382.

<sup>6</sup> В определенные периоды самоубийство вообще становится чуть ли не культурной формой самовоспитания (борьбы с «врагом народа» внутри самого себя) и общественной дисциплины. В этой связи вспоминается ряд «выдающихся» и как бы беспричинных самоубийств конца 1920.—1930-х гг. К этой же категории относились и самоотводы, которые по меркам и терминологии тех лет считались «политическим самоубийством», говорилось о «политических трупах» и т. п.

<sup>7</sup> Баткин Л. М. Онтология Марсалио Фичино... // Традиция в истории культуры. — М.: Наука, 1978, с. 136, 137.

<sup>8</sup> там же, с. 139.

<sup>9</sup> Николай Кузенский. Сочинения в 2-х тт., т. 1, с. 366.

<sup>10</sup> там же, с. 367.

<sup>11</sup> Декарт Р. Избранные произведения. — М., 1950, с. 337, 342.

<sup>12</sup> У. Оккам сформулировал «принцип бережливости», требующий производить возможно меньшее число онтологических допущений, признавать как можно меньше сущностных реальностей. В дальнейшем этот принцип был назван «бритвой Оккама».

<sup>13</sup> Бэкон Ф. Сочинения в 2-х тт., т. 2, с. 69.

<sup>14</sup> Цит. по: Лазарев В. В. Трансформации философского сознания в культуре нового времени. // Культура, человек и картина мира. — М.: Наука, 1987, с. 56.

<sup>15</sup> Бахтин М. М. К философии поступка. // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984—1985. — М. 1986, с. 83.

<sup>16</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 3, с. 218.

<sup>17</sup> Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. т. 3. — М.: Мысль, 1977, с. 74.

<sup>18</sup> См.: Федотова В. Г. Духовность как фактор перестройки // «Вопросы философии» № 3, 1987.

<sup>19</sup> Искандер Ф. Кролики и удавы // «Юность» № 9, 1987, с. 33.

<sup>20</sup> Локк Дж. Избранные философские произведения в 2-х тт., т. I. — М., 1960, s. 129.

<sup>21</sup> Декарт Р. Избранные произведения, с. 283.

<sup>22</sup> Феофанов Ю. Почему это случилось? // «Известия» № 101, 10 апр. 1988 г.

<sup>23</sup> Неологизмы «лжизнь» и «тьматерия» (-тьма+мать+материя) позаимствованы из статьи Г. Д. Гачава «Европейские образы Пространства и времени» // Культура, человек и картина мира. — М., 1987, с. 189—227.

# ЕСЛИ ОСМЕЛИТЬСЯ БЫТЬ...



— Как вы думаете, Мераб Константинович, что с нами происходит, что с нашим обществом! Почему мы, победив в такой войне, как Отечественная, с трудом справляемся сегодня с нашими собственными мирными проблемами! Не произошло ли в послевоенный период определенное снижение уровня культуры!

— В каком-то смысле это несомненно. Только не думаю, что это напрямую связано с войной. Здесь не прямая связь культуры с войной, а связь с ней, я думаю, через феномен личности. Ведь смотрите, непосредственно после войны культура пополнялась людьми более интересными, чем сейчас. Почему? Да потому, что это были люди, осмелившиеся самостоятельно, на свой собственный страх и риск быть перед лицом уничтожения и порабощения. Огнем дышали два дракона: один — в лицо, другой — в спину. Люди обрели совершенно четко очерченный и выраженный личностный хребет. А последующие поколения, молодежь... Я не вижу у них как раз того личностного хребта, той туго натянутой струны духа и характера, которые были у военного поколения. Они, может быть, и умнее, начитаннее, свободнее, более раскованны и, уж во вся-

ком случае, более мобильны. Мы в свое время и мечтать не могли о тех достижениях НТР, которые сегодня доступны, например, любому студенту. О таком количестве книг, информации. Да и контакты у них разнообразнее. И вкус есть. Словом, их можно увидеть везде, где можно получить какой-то интеллектуальный и нравственный заряд. Но беда в том, что все это носит в основном потребительский характер: молодежь не работает. А что такое работа, любая действительно работа? Это самостоятельность, ответственность, риск и готовность за все платить. Работа вообще взрослое дело. Неработающий в этом смысле — ребенок, он инфантилен.

Но дело в том — и я к этому веду, — что такая «проблема молодежи» есть в действительности, т. е. проблема взрослых. Проблема их инфантильности. Общество за послевоенный период успело сползти в онемение, в некий цепенящий абсурд. Откуда молодым людям быть личностями и уметь работать, если социальное омертвление и анемия лишили их интенсивной и полной жизни? Нам-то такую службу сослужила война. А как молодым открывать себя и свою судьбу, если это можно сделать только на **своих собственных испытаниях!**

— То есть взростеть!

— Да, конечно. Но я хочу сказать, что этого не может быть без открытого и граждански защищенного поля свободного движения, о котором никто заранее или извне не может знать, для чего оно и к чему. Без свободного прохождения человеком этого оставляемого ему люфта не может быть личности. Это очевидно. Личность ведь — это форма и способ бытия, особое состояние жизни, находка ее эволюции. Я бы сказал так, что личность — это «крупная мысль природы». Самонастраиваемость ее проявлений не зависит от всезнания или каких-либо высших ориентиров. В этом все дело и в определении культуры. Сказал ведь один умный человек, что культура — это то, что остается после того, как я все забыл. То есть она именно живая! Понимаете, феномен личности не менее таинствен, чем, например, такие великие находки эволюции, как лист растения, локаторное устройство у летучей мыши, глаз человека, копыто лошади, или такие же формы в технике и общественной жизни — колесо, архитектурный купольный свод, нация и национальный язык, правовое общественное состояние, крестьянская семья и т. п. В этом смысле одинаково, я думаю, можно говорить как о личной культуре, так и о культуре земледелия, культуре генетических форм и вообще всего живого и свято оберегаемого (т. е. почитаемого в смысле «культы», от которого, кстати говоря, и происходит слово «культура»).

Таким образом, под культурой я понимаю определенность **формы**, в которой люди способны (и готовы) на деле практиковать **сложность**. Культура для меня есть нечто необратимое, что нельзя ничем (в том числе и знанием, умом, логикой) заменить или возместить, если ее нет. Но ее можно легко разрушить. Например, закрыв тот люфт, о котором мы говорим, и оказавшись тем самым в мире исторического бессилия. Или, если угодно, в до-историческом и до-ценностном мире.

Поэтому, возвращаясь к тому, о чем я говорил, я могу сказать, что молодые люди лишены чувства исторической традиции ответственности еще и потому, что у них нет даже возможности выбора, решения. Поскольку выбор-то (в смысле: «жизнь моя, а вместе с ней и весь мир, здесь решается») делается всегда в лоне предшествующих образцов для поступков — а никто вокруг или перед тобой их не совершал. Так что? Жить на общественном и моральном иждивении или, еще хуже того, молодым и старым вместе, в тщательно огороженном закутке бесформенного райского бытия, в параллельной реальности?! А первой (и единственной) реальности погружаться, как

Атлантида, на дно? Это и есть инфантилизм, вернее, состояние переростков. В нем нет способности (или культуры) **практикуемой сложности**. Нет форм, которыми люди владели бы и которыми их собственные состояния доводились бы до ясного и полного выражения своей природы и оказывались бы историческим событием, поступком.

Естественно, что в сложном XX веке инфантилизму нет места, он ему не соприроден и принципиально чужд. Он удобен, может быть, только для текущих задач близорукой власти, равнодушной к дальним целям культуры, национальной истории и государственности.

Действительно, пора мыслить по-новому, что равнозначно, видимо, тому, что просто мыслить.

— **И Вы считаете, что инфантилизм преодолим?**

— В определенном смысле — да. Но при условии, что все будет думываться и проговариваться до конца.

Опасность здесь тем более серьезная, что в самой основе российской государственности уже был заложен откат от внутреннего развития в пользу развития внешнего, экстенсивного. Как известно, в свое время Петр I сделал рабство фундаментом бурного расцвета экономики страны и ее государственной мощи и объема. В то же время он требовал от людей, уложенных в основание пирамиды, проявлений изобретательности и инициативы, чудес предприимчивости. Он действительно, видимо, ожидал этого от них, не замечая в этом явного противоречия. В эпоху Петра I (и затем все больше) Россия достигла многого из того, к чему сама не была готова. А когда государство и его военная и экономическая мощь опережают общество и культуру (в том числе и культурное действие в экономике), за это всегда рано или поздно приходится расплачиваться. Расплачиваться за отставание внутреннего развития, «состоялости» людей, личностей, за пренебрежение ко всякому правосознанию и частному правопорядку, в том числе и к недовожимому порядку «Я мыслю и не могу иначе». То есть ко всякому существованию из собственного убеждения. И свободные люди это понимали. Поэтому, например, когда Пушкин, изначально раненный в сердце стрелой совсем не татарской «древней воли», представлял царю нечто вроде «предупредительной» записки «О народном воспитании», то он имел в виду не просвещение в смысле распространения суммы позитивных знаний (достигнутых на данный момент), а распространение и разноможение живых и автономных очагов действия и воплощенного существования. Имел в виду «воспитание историей» (молчаливо тем самым принимая чаадаевскую дилемму «историческое — неисторическое» в применении к русской жизни). Напомню старое определение действительной природы Просвещения.

Просвещение — это взрослое состояние человечества, т. е. способность людей думать своим умом и ориентироваться без внешних наставников и авторитетов, не ходить на помочах.

Между прочим, эта проблема культуры (т. е. внутреннего развития) относится и к технической мощи страны, к ее техническому потенциалу и вооруженности. Мы часто теряем представление, какой богатый и сложный мир идей, моральных и гражданских навыков, внутренней развитости стоит за теми техническими новин-

ками и достижениями, которые мы наблюдаем у соседей, на Западе. И думаем воспользоваться ими как внешними, готовыми продуктами. Но даже «просто техника», как это ни парадоксально, всегда является продуктом культуры, духовного зерна. Культурное сознание недеформируемо, и, как уже замечено в литературе, не может один и тот же мозг, который в своих собственных гражданских, нравственных и социальных делах оказывается недорослем, дитем малым, вдруг взять и в физических науках, в сложнейшей технике и т. п. проявить чудеса изобретательности, самостоятельности и отвлеченного интеллектуального мужества. Посмотрите, когда естественным образом иссяк человеческий материал (я имею в виду интеллектуальный и моральный тип ученого, инженера и т. д.), унаследованный от довоенных и военных лет, какая ситуация сложилась в теоретической физике, в современной технике, в генетической биологии и медицине. Дополнительным доказательством служат и многочисленные неудачи механического переноса разных технических новинок из одной страны в другую. Мы часто по-обезьяньи копируем что-то, а потом это все у нас ломается и выходит из строя или простаивает или вообще оказывается какой-то неподвижной потусторонностью в наших условиях, как, например, компьютеры. Между тем это закономерно и понятно, ибо мы берем только сами вещи, но не то, что за ними стоит. Мы отнимаем их от духовного зерна, их родившего, оказавшись сами вне его и его человеческих условий. Можно взять все технические достижения — и ничего из этого не получится.

— **Но, очевидно, здесь есть какие-то более широкие процессы, затрагивавшие причины того или иного уровня культуры и творчества?**

— Так оно и есть, на мой взгляд. Конечно, жизнь волна и спонтанна, дух поет там, где хочет, и цветок жизни пробьет даже асфальт. Был ведь Пушкин, и сейчас есть и будут изобретатели, сыны и носители гармоний. Но это не может быть принципом организации жизни. Не может быть школы «гения чистой красоты» и красоты свободы. Школой может быть лишь открытая школа исторического существования. А если в стране, уже как бы и привычно, устанавливается вынужденно подпольная и контрабандная форма существования культуры (в том числе и экономической), то само по себе это тоже несомненный признак снижения и упадка культуры, ее малой продуктивности. Ибо культура всегда публична, ее всепространственность и повсевременность, по определению, всегда открыто представлены на том, что греки называли «агорой». В нишах и подвалах не может ничего возникать, кроме вторичного (я говорю, конечно, о принципе, а не об исключениях) или призрачного, только в ненаступившем, будущем полагаемого. Так, многозначительный туман, воспарения... Все или прошлое, или будущее, и ничего в настоящем. Культура же, т. е. вечность в настоящем, в существующем, нуждается в открытом пространстве и свободном слове. Это, очевидно, «врожденное» свойство культуры: она не может органично и жизненно полноценно расти в подполье, в глухой, не связанной словом (или, если угодно, «все-словом») жизни. Живые токи коммуникации должны быть!

И, посмотрите, насколько отсутствие этой дополнительной, культурной продук-

тивности отражается на самих возможностях нашего общественного самосознания и даже просто осмысленности слов, терминов. Например, мы говорим о молодежи и употребляем слова: «поколение», «традиция», а ведь по сути дела это незаконно. Чтобы эти термины имели смысл и работали в общественном самосознании, недостаточно, чтобы физически существовали молодые люди и их проблемы. Нужно, чтобы нити между ними (формальными организациями и информацией как раз перерезанный) сходились в каком-то связанном пространстве, в котором люди могли бы открыто отображать себя и свои проблемы и в котором они могли бы **осознать** себя как «поколение». То есть которое послужило бы органом развития реальных проблем и состояний. А на деле между одной мыслью и другой — тысячи километров расстояния (скажем, между юношей в Риге и во Владивостоке), и каждая у себя атомизирована. И в итоге, как бы существуя, не существует. То, что какой-то внешний наблюдатель их может идентифицировать, не имеет никакого значения. А сами молодые сегодня чаще всего встречаются не в том пространстве, о котором я говорил, а, например, в дискотеках (особенно в провинции), на своего рода коллективных радениях, которые есть лишь перевернутый образ наших митингов 30-х годов, на деле разобщавших людей в том, что действительно есть. Я никаких претензий (тем более высоколобых) не имею ни к дискотекам, ни к тому, что одевают, ни к тому, что поют, ни к тому, как общаются. Я говорю совершенно о другом. Я говорю об органе развития, существование которого, с одной стороны, делало бы осмысленным то, что действительно есть. Иначе просто глухая жизнь, как бы громко ни звучал рок.

То, о чем я говорю, сказывается, конечно, и на традиционной связи учитель — ученик, потому что неясно, чем может помочь и что вообще может сказать в этих условиях, скажем, ученый-философ молодым коллегам, студентам, слушателям. Или вообще ищущим. Конечно, сегодня так же, как и в прошлом, нельзя специально вырастить кого бы то ни было. Самая лучшая передача случается тогда, когда учитель не занимается педагогикой, ничему сам специально не учит, а является молчаливым примером. Но душевная смута именно здесь возникает. Я понимаю, почему, например, у Бахтина не было учеников. И дело даже не в том, что он как ученый занимался такими предметами, которые просто очень трудно передать, поделиться с другими. Дело в том, что каждый из нас оказывается часто в ситуации, когда нужно что-то по своему опыту посоветовать молодому человеку, и вдруг такой совет невозможно дать. И вот по какой причине: то, что можно мне, нельзя ему. И нет, следовательно, морального права на это. Думаю, Бахтин хорошо понимал эту ситуацию. Он всю жизнь не стеснялся работать в стол, он знал: «есть для избранных годы молчания...» Но что это? Молчаливый пример, что таланты «подвальной» культуры все-таки пробиваются, что «рукописи не горят»? Да это было бы чистейшим лицемерием! Бахтин реализовал идеал молчания, изгнанничества и мастерства. Но призывать к этому же своих поклонников или возможных учеников он не мог. Не только потому, что это не так просто — для работы в стол нужны мужество и терпение, особая моральная закалка, — но и потому, что для этого нужна особая экстерриториальность соб-



ственного положения — завоеванная и выстрадавшая. Молодые люди эти столы могут просто взламывать. Я вспоминаю Августина, который только с ужасом мог подумать о возможности снова оказаться молодым. И я, например, тоже не хочу, чтобы мне сейчас было снова семнадцать лет...

— **А вы не боитесь писать в стол!**

— Я не пишу в стол, жизнь моя сложилась иначе. И у меня не только полностью отсутствует какое-либо сознание преследуемости, но и само сознание «писания в стол». Я не знаю, как это объяснить. Если накапливаются рукописи, то мне кажется, что я просто плохо пишу или бессилен выразить мысль до конца. Кроме того, я всегда стремился выговаривать свои мысли в лекциях или докладах. И если здесь что-то «не проходило», то, наверное, из-за отсутствия у меня способности говорить просто и ясно. Но я имею в виду именно акт, поступок мысли. Хотя, возможно, это никогда не будет опубликовано. Но это другой вопрос. Дело же самовыполняется и самоисчерпывается в том акте, который ты совершаешь. У Эйнштейна как-то спросили, как ему в голову приходят идеи. Он рассмеялся и сказал, что дай бог, если за всю жизнь ему пришло в голову хотя бы полторы идеи. Но если это случилось, если полторы идеи все-таки выстраданы, — человек как бы самовосполняется.

— **Ну хорошо, а что делать автору действительно талантливой книжки, если она по каким-то причинам не идет в печать! «Пробивать» ее или же лучше не суесться («служенье муз не терпит суесть») и ждать своего часа в надежде, что человечество образумится и книга, если это и в самом деле серьезная работа, сама пробьет себе дорогу!**

— Молодому человеку я безусловно не советовал бы пробивать свой труд, потому что это было бы — пробивать заодно и себя. Для молодого человека это не может не выродиться в сутяжничество. А акт мысли, акт написания книги мне кажется воплощением целомудрия. В человеке творящем всегда есть какая-то особая сдержанность по отношению к вдруг удавшейся мысли, образу, целому и т. д. Можно, конечно, как однажды Пушкин, воскликнуть: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!». Это другое. Это почти что физиологическое здоровое выражение творческого акта — разродился, и вот ощущение блаженной пустоты. Но это не позиция, на основании которой Пушкин мог бы, например, просить аудиенции у государя императора, положим, и что-то «свое» пробивать в печать. В XIX веке даже сама такая мысль не могла возникнуть. Ни у кого — ни у Пушкина, ни у Лермонтова, разве что у Булгарина. А сейчас подобное «хождение наверх» стало чуть ли не общепринятым правилом. Пушкина же, например, схваченного в двойной пресс своего рода сговора — между царем наверху и массами во главе с Булгариным внизу, — заботил гражданский вопрос: неужели мы, аристократы, существуя, не можем иметь свой журнал?

Такая вот разница...

— **А если книжка не печатается только потому, что точка зрения автора не подходит или просто не нужна людям из издательства, бюрократически отстаивающими какие-то собственные корыстные интересы в литературе! Если книжка им, так ска-**

**зать, заочно не нужна и барьеры, которые возникают на ее пути в печать, есть не что иное, как сведение старых литературных счетов...**

— Здесь трудно ответить. Все это есть, конечно. И тут нет никаких рецептов. Вы фактически говорите об одиноком и кому-то неудобном таланте. А я вообще не верю в одиночество в том смысле, что быть солидарными и сотрудничать могут только одинокие люди, люди, ставшие лицом к лицу с бездной в себе... «Бездна с бездной перекликаются». У одинокого человека не может не быть друзей. И практически, например, Ваша проблема решаетесь тем, что находится неофициальные друзья в разных местах (в том числе и ответственных) и моментах, могущие помочь тебе. А друзей, как я уже сказал, не может не быть. И берутся за руки ведь не только в песне. Но правила, приема здесь нет.

Я не сомневаюсь, что существовало множество людей, о таланте которых мы уже никогда не узнаем. В том числе и потому, что их жизнь искусственно прервалась в самом его зарождении. И мы знаем чудовище Молоха жестокости одних и трусости и предательства других. Кто не жил в те глухие годы, когда «все молчало на всех языках» и, добавлю я, больше трех никто не собирался, кто не знает изнутри этот почти что совершенно физический страх, подвешенный, как капельки, в атмосфере, проникающий во все закоулки души, во все прилегающее к человеку окружение, тот не может достойно судить о состояниях и поступках людей тех лет. Что угодно могло убийством души ее детонировать, как объемную бомбу. Но сострадание вызывает и внутренние жертвы, т. е. люди, которые дали самих же себя съест изнутри, приняв в себя — хотя и с отрицательным знаком — те же внешние идылы успеха и влияния. У них на деле не конфликт с властью, а конфликт власти, которую они хотели бы иметь на месте «дурaków», «уродов», «недостойных», — или болезненный, как удачно кто-то составил, комплекс соответствия другим занимаемой должности. Действительно, как это весь мир, затаившись в восторге, не падает к их ножкам?! К такой духовной смерти, нравственному дальтонизму может ведь приводить и безудержная страсть к пробиванию своего литературного детища или концепции, роковое ощущение своей непризнанности. Сочувствие, сострадание и собственное презревание людей вокруг тебя — казалось бы, достаточно. Но нет, все что-то гложет — «право имеют».

На деле это обратная сторона какого-то всеобщего рабского чувства, живой кровью питающаяся потусторонность, внутренне принадлежащая Кому-то или Чему-то, инфантилизм внутренней зависимости, просто-таки непредставимость самодостоинства человеческого образа в себе. А все потому, что в свое время не работали и не устраивали сами свою жизнь, не строили и не развили в себе и непосредственно вокруг себя обжитые стены **человеческого самосознания**, осмысленную недвижимую «малую родину», тысячами нитей затем связуемую с «большой Родиной», которая без них — мистическая абстракция. Обезумевшие атомы! Действительно, если есть семена ума, то можно представить себе и волосы ума. Представьте себе, что волосы у человека растут на голове вовнутрь (вместо того, чтобы, как полагается, расти нару-

жу), представьте себе мозг, заросший волосами, где мысли блуждают, как в лесу, и не находят друг друга, ни себя, сколько ни аюкуются, и ни одна из них не может оформиться, выразиться. Это первобытное состояние гражданской мысли. И это там и тогда, где и когда больше всего нужна социальная общегражданская грамота мысли и чувства! Вы представляете себе современный мир, сегодняшние наши задачи?! А тут заблудившиеся в чаще волос мысли, чувства...

Понимаете, ведь главная страсть человека — это **быть**, исполниться, состояться. А без форм и изначальных надындивидуальных устоев (они в философии любовью называются) — человек отбрасывается в сферу исторического бессилия и взрывоопасной немоготы, о чем я уже говорил. Именно в этом смысле я употребил сопоставления «исторического» и «несистематического» состояний, «традиции» и «безродности» и т. д. Особенно существенно здесь вероятность необратимых последствий исторических выборов, ибо культура — это прежде всего духовное здоровье нации, и поэтому надо в первую очередь думать о том, чтобы не нанести ей такие повреждения, сцепления последствий которых были бы необратимы.

Гласность, например, — это ведь просто **представленность** всего на самом деле существующего, живого и гражданская защищенность его «тяжущихся» сторон, а уже во вторую очередь — прозрачность механизма принятия решений и действия лиц власти и возможность оспаривать эти решения и действия.

— **И что же философия может сказать о новых явлениях в нашей жизни! Каков ее статус сегодня!**

— К сожалению, все то же, что и всегда: не плакать, не смеяться, не негодовать, не славословить самозабвенно, но понимать. Ведь философия говорит с нами из очень большого временного далека, по меньшей мере оттуда, где на переломе мифологической эпохи произошел прорыв истории и человеческой формы. Поэтому любой вопрос, если он философски поставлен, сразу же обращается в вопрос о тайне бытия и человеческого сознания, оказывается опытом мысли в осуществлении бытия. Это все то же и все о том же в «вечном настоящем» человеческого становления. Отсюда, как бы **изнутри**, философ и идет воображением к универсальным граничным условиям того, на что вообще способен (или не способен) человек перед лицом непреклонных законов цельности и полноты бытия. Без форм нет ничего. А если уж есть что-то, то это предполагает в нас способность выполнять ограничения и связности, налагаемые единственно важным условием — условием жизни формы. То есть — чтобы она была жива и плодотворна. Философ же просто доводит до последней ясности свидетельские состояния своего сознания, касающиеся этого рода «способности».

Например, все несомненно чувствуют, что общество сейчас стремится развиваться и не может. Немогота какая-то, бессилие. «Жизнь, как подстреленная птица, поднятая хочет — и не может... Висят поломанные крылья». Поломанные крылья... Очевидно, по-моему. Для многих очевидно. И философ, например, так пытается отдать себе отчет в этой осознаваемой очевидности: называть надо было, представлять все, что стучалось и царапалось в двери бытия! Есть закон названности собственным именем, закон

именованности. Он — условие исторической силы, элемент ее формы. А это условие не выполнялось. На наших глазах общество автолюбителей, например, берет на себя функции ГАИ по отношению к собственным же членам; руководителем общества охраны природы оказывается административное лицо, против которого как раз и должны защищаться интересы этого общества, а подсудимый должен быть и собственным адвокатом, и судьей, и исполнителем приговора. Стыдливым парадоксом произведена «смазь вселенская» всем особым интересам и состояниям. Глухое переплетение глухих жизненных побуждений, каждое из которых само по себе законно, но безгласно. И — ничего не производится. Что происходит на самом деле? Что есть? Если даже не названо... Невозможно узнать. Более того, неназванной вещи невозможно и стать. Реальность, не имея люфта свободных именовании и пространства составительного движения, не доходит до полноты и цельности жизнеспособного и полноценного существования, до ясного и зрелого выражения своей самобытной природы. Как и вообще новое — если оно не оказывается в просторстве, охваченном эхом открытой его названности. Это ведь поле, где можно совершать усилие и **отвечать**; оно же и антропогенное поле, антропогенная среда. А как отвечать, если ты не окликнул... по имени? Без окликаний явлений по имени нет и **места**, где, например, могла бы быть память и мог бы быть смысл того, что случилось, что произошло или что происходит на самом деле (в том числе и смысл беды, несчастья, позора, ужаса, болезни). У того, у кого этого нет, нет и будущего, ибо нет памяти, сколько бы он ее ни заклинал и сколько бы он ни знал, что **надо** иметь память, помнить. Единственный шанс иметь будущее, а он же и шанс стать людьми, — это, **именуя**, выносить наружу и осознавать беды и несчастья, а не загонять их вовнутрь, где они начинают двигаться и развиваться иррациональными, стихийными и патогенными путями.

Теперь уже как будто входит в привычку называть вещи именно так, как они называются. Не врать. Или не замечать действительность ее противоположными дубовыми парафразами. Гласность — это ведь не только раскрытие каких-то тайн, это и называние вещей по собственным именам. А, В, С только тогда взаимодействуют между собой, только тогда происходящее в них, по отдельности и между ними вместе, продуктивно и получает дееспособное историческое существование, когда они известны (и нам, и себе) именно как А, В, С. Если же мы о существовании их ничего не знаем, а сами они не могут без имен даже артикулироваться и осуществиться, то это все равно, что их нет. Вот они и вернутся в «чертог теней». То есть в до-историческое существование.

Есть, например, смерть. И есть мертвая смерть. Между ними большая разница. Любой уход из жизни должен быть публичным, публично названным и известным. Тогда это смерть, участвующая в жизни. Ведь даже из отрицательного (а что может быть большим отрицанием, чем смерть?) можно что-то извлечь, зерно для души и смысла. А вот из неназванного это сделать нельзя. Это разрушает сознание и души даже больше, например, самой войны, если ее жертвы не фигурируют в публично известных воинских списках, а ритуал оплакивания их родными, ритуал гражданской памяти и боли не выполняется **весь, полностью**. Вот почему я говорю, что на-

**зывание, именование вещей** — один из первых актов культурного строительства. И духовного здоровья нации, о котором я все время только и говорю фактически.

— **А как Вы думаете, Чернобыль нас чему-нибудь научил?**

— По-моему, ничему еще не научил, кроме разве что специалистов, от которых что-то иногда до публики доходит. И это после гигантской, самоотверженной работы, там проведенной! Немногие же извлеченные общественные яности, как, например, в «Колоколе Чернобыля», соседствуют с ложью и невнятицей, переплетаются с ними и тонут в каком-то «шуме». В частности, и потому, что суть дела **уже названа**, перехвачена в анти-названии. Ведь публично Чернобыль — это «место подвига», место, где будет «воздвигнута пирамида, выше пирамиды Солнца». Все это я с некоторым ошалением слышал по телевидению и в газетах читал по свежим следам... Удавка на мысль и на ищущее себя действие уже набросана. И что? Тысячи недоправд сцепятся, закольцуются и никогда не выйдут правдой на свет божий. Главное же тут в том, что магнит, линии силового поля нашего ума сразу выводят нас на уже существующие образы внешнего окружения, «врагов» и «друзей», собственной национальной безопасности и т. д. и завязывают все это в узел, который я метафорически назвал бы «удавкой на границе». И продолжится какая-то какофония мысли «на границе» при малейшем прикосновении к ней. Как будто она повсюду поставлена одинаково под ток высокого напряжения. Та же многоузловая завязка, «закольцованность» наша комплексом неполноценности и одновременно превосходства, привязывающих нас к образу внешнего мира, та же подростковая мука и сердечная невнятица. Если воспользоваться любезным сердцу многих отечественных журналистов различием между «они» и «мы», то тут просто математическую формулу можно вывести: если в любой точке страны взять произвольно большое различие между «они» и «мы» в нашей стране и вести его в направлении к границе, то оно будет уменьшаться прямо пропорционально приближению к ней, чтобы стать на ней равной нулю. Тут все говорят (и думают) одно и то же! И ведут диалог только при условии, что вторая сторона самозабвенно твердит то же самое. А если нет — то диалог ведется известными средствами, как на войне, где все средства хороши. Причем я говорю не о государственной дипломатии, у которой свои законы, а об общественной жизни и об органах информации и общественного мнения, которые — нечто иное. Вернее, должны быть чем-то иным. Ибо мозг человека един, и сохраняя в себе этот «диалог средствами войны» с его разлагающим и разразающим ядом — убийственно для внутренней жизни страны. Поэтому нельзя внутри ничего достичь, не действуя и на образ внешнего мира, не расцепляя эту удавку и узел всех живых побуждений и сил. Я вполне могу понять Александра Бовина, который завидует журналистам, пишущим на внутренние темы. Ибо пора действительно писать и думать так, что внешняя тема есть также и внутренняя тема. Взрослеть надо. Я, например, не понимаю, как можно бороться за сохранение цивилизации на Земле, самим не становясь более цивилизованными или даже просто цивилизованными.

— **Здесь явно возникает тема право-**

**порядка и в этом отношении. Как Вам кажется, насколько вообще можно рассматривать закон как часть культуры!**

— Думаю, что только так его и можно рассматривать. Хотя бы уже потому, что для закона нужен гражданин, Человек-гражданин. И к тому же закон — это прежде всего право на труд, на **свой** труд. Если мы определили Просвещение как способность — и **право** самому понимать свое дело. Но еще глубже — закон есть только тогда, когда средства достижения его целей в свою очередь законны, т. е. растворенно содержат в себе дух самого закона. То есть это конкретные, воплощенные существования людей, инструментов и утвари жизни **из закона**, деятельно присутствующие везде в том, чего может касаться закон и что законом регулируется. Нельзя волепроизвольными и административными, т. е. незаконными, средствами внедрять закон, даже руководствуясь при этом наилучшими намерениями и высокими соображениями, «идеями». Ибо его приложения распространяются тогда (и чем шире и жестче приложения, тем шире и болезненнее прецедент и образец беззакония, содержащегося в таких средствах). И все это — независимо от намерений и идеалов «во благо» и «во спасение» или, наоборот, от какого-либо злого умысла. Особенно это очевидно в случае монополии, всякой монополии. Скажем так: если я могу, пусть ради самых высших соображений общественного блага, в один прекрасный день установить специальную цену на определенные товары, скрывать и тайно перераспределять доходы, назначать льготы, распределять товары, во имя плановых показателей менять предшествующие договоренности с трудящимися и т. д. и т. п., то в тот же самый день (и впрямь — по вечной параллели) это же будет делаться кем-то и где-то (или теми же и там же) из совершенно других соображений. Из личной корысти, путем спекуляции, обмана, насилия, кражи, взятки. Конкретные причины и мотивы в структурах безразличны, взаимозаменяемы, переливаемы одни в другие и перевертышны. Потому что закон един и неделим во всех точках пространства и времени, где действуют люди и между собой связываются. В том числе законы общественного блага. Следовательно, цели законов достигаются только законами!

— **Но почему все же законы нарушаются! И, с другой стороны, не слишком ли это механично, то, что Вы говорите!**

— Да потому, что обычно связывают правопорядок с порядком идей, истины, как будто закон сам по себе существует, а не в людях, в индивидах, в понимании ими своего дела. И хотят обойтись без индивида, без индивидуальной сил, без человеческой развитости, не доверяют просто-напросто человеческому здравому смыслу и личным убеждениям, способности действовать из них. Но это невозможно по законам бытия, если отличать их от знания юридических норм! В этом все дело. То есть возможность обойти индивида исключена не в силу гуманистического предпочтения и заботы о человеке, а в силу непреложного устройства самого бытия, жизни — **если вообще чему-нибудь быть**. Я глубоко убежден, что только на уровне бытийного равенства индивидов может что-либо происходить. Принц и нищий, буржуа и пролетарий здесь равны. Здесь никому ничего не по-

ложено, все должны сами проходить путь и совершать собственное движение «в середине естества», движение, без которого нет вонне никаких обретений и никаких установлений. Что, процитировать Вам стихотворение Державина, словами которого я воспользовался? Уже он понимал суть дела чисто философски (а не только юридически или гуманистически):

«Частица целой я вселенной,

Представлен, мнится мне, в почтенной  
Средине естества...

Я связь миров, повсюду сущих,

Я крайняя степень вещества...

А Пушкин? — «Вращается весь мир  
вкруг человека, ужель один недвижим  
будет он?».

Так вот, никто еще не избавил человека и мир — **какому быть** — от этого движения в человеке в «средине естества».

— **И все-таки, как Вам кажется, материальное от духовного отделимо или нет?**

— Нет, потому что духовное телесно. Оно имеет протяженность, объем, уходящий куда-то в глубины и широты. Это своего рода коллективное «тело» истории и человека, предлагающее нам определенную среду из утвари и инструментов души и являющееся антропогенным пространством, целой сферой. Это среда усилия. Для того, чтобы что-то создать — любое, в том числе и в духе, — нужна работа, а работа всегда в конечном итоге выполняется мускулами. Можно, если угодно, говорить о мускулах души, ума, гражданственности, исторической реальности внешнее и есть внутреннее, а внутреннее и есть внешнее. Существует точка зрения, что, когда урезается внешнее пространство деятельности человека, то это может оказаться толчком для интенсивного развития внутреннего пространства, богатой внутренней жизни. Это часто встречающийся, но, по-моему, глубоко ошибочный аргумент. Он просто самодовольно-умильная сублимация и компенсация фактического исторического бессилия.

— **Почему! Пушкин ведь не по своей воле, как известно, оказался в Болдино, и здесь, когда он был оторван от обеих столиц...**

— Да, болдинская осень есть болдинская осень... Но Вы понимаете, мы не Пушкины. Не просто в том смысле, что не обладаем личной гениальностью Пушкина. Но еще и потому, что Пушкин принадлежал к высшей русской аристократии, т. е. как раз обладал одновременно и «телом», побуждавшим его к самостоятельному совершенствованию и историчности и при том еще как-то, хотя бы сословно, ограждавшим и защищавшим его. Он принадлежал к определенному кругу так называемой «сотни семейств», способному к самодостойному культурному существованию. Во многом именно принадлежность к этому кругу помогала людям сохранять свое личное достоинство и мыслить самостоятельно. Но и этой минимальной защищенности оказалось недостаточно. Не говоря уже о том, что они не могли не дышать испарениями окружающего рабства и невольничества (или вольно) палились им, стоит вспомнить сказанную еще Михаилом Луниним гениальную фразу: все мы батарды Екатерины II. Молодые львы, которые жили не эту жизнь и не так... В историческом смысле лишние. Поэтому Пушкин чуть ли не собственноручно, единично хотел создать историю в России, пытаясь на деле доказать свою антитезу некоторым мыслям Чаадаева. Например,

утвердить традицию семьи как частного случая Дома, стен обжитой культуры, «малой родины». Как автономного и неприкосновенного исторического уклада, в который никто не может вмешиваться, ни царь, ни церковь, ни народ. Под семьей, разумеется, он имел в виду не раздачу отметок за добродетель. И принес себя в жертву своему принципу. Для меня очевидно, например, что он был выведен на дуэль не зряшной физической ревностью. Действительно, невольничеству чести. Но чести не в ходячем, «полковом» ее понимании, а чести как устоя бытия, как элемента чуть ли не космически осмысленного порядка и меры. В ней он утверждал и защищал также и гражданское достоинство и социальный статус поэта, всякого человека мысли и воображения. Пушкин сразу, резко оторвался от литературы своего времени. К 30-м годам его уже не понимала собственная среда, даже ближайшее окружение и друзья, ибо эта среда была огласна продолжать быть тайным большим добром, тайной большой мыслью и большими прекраснопениями. А Пушкин менял сами рамки, почву проблем, основным элементом которой были собственные притязания государственности на все плоды занятий мастеров своего дела, сведение их к какому-то юродивому довеску к всеобщему бесправию, гражданской бескультурности и бездуховности. Кстати, по этому же водоразделу шли его расхождения и с официальным православием и церковью, которые он упрекал в том, что они не создали независимую и самобытную сферу духовной жизни, сравнивая в этой связи священников с «внухами, которых «только власть волнует», и отмечая разительное отсутствие фигуры православного попа в светском салоне, т. е. и культурном строительстве.

Такие люди, как Пушкин, сами создают вокруг себя пространство для возникновения культуры и преемственности, истории, всегда чреватой новым бытием. Так что Пушкин, оказавшийся в Болдино, совсем не похож на какого-нибудь московского интеллигента, загнанного в свою внутреннюю жизнь и ушедшего в подвал где-нибудь на Сретенке или вообще в сторожа создавать свои гениальные работы. Есть разница!

Люди освобождаются ровно настолько, насколько они сами проделали свой путь освобождения изнутри себя, ибо всякое рабство — самопорабощение.

«Внутренняя свобода» — это вовсе не подпольная свобода ни в социальном смысле, ни в смысле душевного подполья. Здесь слово «внутренняя» мешает, вводит в заблуждение. Это реально явленная свобода в смысле освобожденности человека внутри себя от оков собственных представлений и образов, высвобожденности человеческого самостояния и бытия. Так что «внутренняя свобода» — это вовсе не скрытое что-то. Обычно человек во внутрь самого себя переносит стиснутость его внешними правилами и целесообразностями, дозволенностями и недозволенностями в культурных механизмах, обступающих его со всех сторон в жизни, бурной и непростой. Тем заметнее и крупнее любое исключение из этой ситуации. Вот почему я говорю, что сегодня особенно нужны люди, способные на полностью открытое, а не подпольно-культурное существование, **открыто** практикующие свой образ жизни и мысли, благодаря которым могут родиться новые возможности для развития человека и общества в будущем.

Создавая на деле новое пространство и человеческие возможности, — Пушкин (и вслед за ним уже многие другие в литературе) ничего не выражал, никого не «представлял», не «отражал», и уж, тем более, никому не поставлял предметов духа для «законных наслаждений». Пушкин, Тютчев, Достоевский, Толстой целую Россию пытались родить (как и себя) из своих произведений!

— **Что Вы имеете в виду! Не то ли, о чем писал в свое время Чаадаев: «Не хотим царя земного, хотим царя небесного!» Иначе нет, наверное, возможности нового, неожиданного в культуре!**

— Можно ли, например, спрашивать о Достоевском, вдохновлялся ли он любовью к родине, любил ли ее? или о Толстом? — заставляя их после смерти расписываться в верноподданности, в своих патриотических чувствах? По-моему, это нелепые вопросы. Дело в том, что такие люди сами и были Россией, **возможной** Россией. Для меня это несомненно. Во-первых, мыслитель, художник, как и во времена Чаадаева, так и сейчас, обязан только правдой своему Отечеству. Но оставим это. Говоря о рождении из творчества писателей целой страны, Россия, я имел в виду русскую литературу XIX века как словесный миф России, как социально-нравственную утопию. Это попытка родить целую страну «через звуки лиры и трубы», как говорил Державин, — из слова, из смыслов, правды. Потом уже, после революции, возникло новое, более личностное, критическое, а не миссионерское отношение к слову и его возможностям. Как я уже показал, «через звуки трубы» могли рождаться личности из концы Отечественной войны. Но это оказалось таким же мифом, как и «звуки лиры». Что же касается последних, то сейчас многие даже и себя рождать из слова не могут. Что уж там до целой страны.

Если правдой обязан своему Отечеству, то это ведь правда прежде всего о себе как точке пересечения своих состояний. Только ясным письмом, внутренне свободной мыслью и по законам слова она добывается. И именно этой правды, правды до долга и обязанности, о своих собственных впечатлениях и переживаниях не хотят (и не умеют) добывать, например, активисты общества «Память». Великие писатели прошлого обладали уникальной способностью доводить до ясности и полноты зрелого выражения свои переживания. В их книгах не было темноты того, что хотелось ими сказать. А современные писатели чаще всего не способны отдать себе отчет даже в природе того, что они сами испытали или пережили. Об их книгах нам приходится рассуждать так: сказав что-то, он на самом деле хотел сказать другое, вот то-то и то-то, и это нечто действительно есть, имеет право на выражение, от него действительно может болеть душа. Но для любого профессионального литератора это должно быть просто оскорбительно. Современный читатель ведь уже не ждет, слава богу, от писателя ответа на вопрос, как жить человеку и что делать, он понимает, что такого ответа ни в какой ситуации не может быть, и, тем более, он не может быть заключен в формулу готовой истины. Читатель требует от писателя прежде всего ясного и личностно-ответственного письма. А ясность мысли всегда заставляет думать и обогащает, восполняет независимо от направления самой мысли...

Беседу вели А. Караулов,  
Ю. Сенокосов.

# ЧЕМ БОЛЬШЕ МЕНЯ БРАНЯТ



Фото АНДРИСА КРИВИНЬША

## С О В Е Т С К И Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я . . .

**ИНТЕРВЬЮ С СОВЕТНИКОМ PBLA<sup>1</sup>, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ЛАТВИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА АГРИСОМ БАЛОДИСОМ**

— Охарактеризуйте, пожалуйста, вашу организацию и задачи Национального фонда.

— Цель Национального фонда тройная: собирать и распространять информацию о событиях в Латвии, стараться информировать о них общественность Запада, содействовать различным культурным начинаниям, особенно — по просвещению нашей молодежи в национальных вопросах.

— Как выполняются эти задачи в вашей практике?

— Мы издаем довольно много книг. За послевоенный период нами издано более ста наименований, хотя точное количество не подсчитано. Некоторые издания представляют собой как бы оперативные ответы на те или иные вопросы. Вначале некоторые из книг делались очень просто, скажем, в стандартной технике. В последние годы мы обратились к освещению важных вопросов. Один из них — повторное издание списка<sup>2</sup> вывезенных, который мы переписали, поскольку первое издание фактически представляло факсимильный оттиск

<sup>1</sup> PBLA — Всемирное объединение свободных латышей.

<sup>2</sup> These Names Accuse. Stockholm, 1982.

доставленного в Женеву списка. В издании заново отредактировано введение, внесены дополнения — некоторые документы о деятельности Латвийского правительства в 1940 году, о депортациях вообще. Поэтому была предпринята попытка собрать сведения о тех, кто был вывезен или репрессирован в 1940—1941 годах. Однако надо признать, что и это дополнение очень схематично и незначительно.

Мы начали издавать важнейшие документы из истории независимой Латвии. Переопубликовали «Latvijas Satversmi» (Латвийская Конституция), отредактировали ее и обеспечили новым введением. Автор введения Зигурд Зиле — специалист по конституционным вопросам, работает в США, в Мэдисонском университете. По-моему, он один из числа тех двенадцати ученых в США, которые занимаются изучением советского законодательства. Зиле исследовал и то, как выработывалась политика в отношении меньшинств в независимой Латвии.

Вторая из наших важнейших публикаций — мирный договор 1920 г. с Советской Россией. Документ опубликованы на пяти языках: латышском, английском, французском, немецком и русском. «Satversmi» мы просто перепечатали, поскольку все переводы уже были сделаны, в отношении переводов мирного договора и других документов пришлось позаботиться самим, по возможности обращаясь к первоисточникам, конечно же, научно их обрабатывая. Французский текст мирного договора мы взяли из сборника протоколов Лиги Наций, в котором были зарегистрированы тайные договоры всех государств. Английская версия — из публикации латвийского посольства, немецкий перевод — из одного специального издания, русский — вам уже известно, что договор был заключен на двух языках, — поэтому текст мы могли брать непосредственно из «Правительственного Вестника».

Нашим третьим изданием такого типа стал договор о взаимной помощи, навязанный Латвии в 1940 году. В этом издании также использованы текст из «Правительственного Вестника», французские и немецкие версии из материалов Лиги наций. В качестве продолжения мы приложили к этой публикации ультиматум от 19 июня 1940 г., или, как в те времена его называли на советском жаргоне, — заявление. Переводы этого документа на европейские языки сделаны уже в наши дни, поскольку тот не являлся официальным, зарегистрированным по международным нормам договором.

Мы заново издали целый ряд работ как важнейшие материалы по истории Латвии: труд С. Паегле «Как создавалась независимая Латвия», книгу Э. Бланка о национальных проблемах в Латвии. В последнее время ощутило возрос интерес к истории Латвии как со стороны шведской общественности, так и со стороны журналистских кругов. В начале 60-х годов вышла на шведском языке «История Латвии» А. Швабес — сравнительно сырая и не в лучшем переводе работа, понятно, что надо было подготовить что-нибудь поновее. Это задание досталось мне, и я трудился почти три года над новой «Историей Латвии» на шведском языке — объемом приблизительно 400 машинописных страниц. Книга, вероятно, выйдет нынешней осенью. По-своему правы те, кто говорил, что история Латвии, написанная на Западе, заканчивается 40-м годом, хотя некоторые труды и включают период до 1944 года. Поэтому в своей книге я попытался рассмотреть латвийскую историю до наших дней, до создания Народного фронта и происходящих в последнее время событий. Вне сомнений, что для шведов мною была задумана сжатая, без излишней детализации, информативная и, я надеюсь, легко читаемая работа. Мы надеемся, что книга заполнит ощущаемый в Швеции информационный вакуум.

— Каковы в финансовом отношении возможности Национального фонда?

— Основу Национального фонда составляют содействующие лица, иначе говоря, члены-избиратели, которые

каждый год вносят определенную сумму, создавая таким образом действенный капитал. Но большая часть фондовых средств складывается из пожертвований и перечислений. Каждый проект мы тщательно оговариваем, стараясь увильнуть от больших, престижных изданий. Благодаря этому наша непосредственная деятельность очень хорошо финансируется. Фактически наша деятельность почти полностью может быть покрыта процентами с капитала.

— Опишите немного свой круг интересов. Как вошла в него история?

— У меня несколько профессий. Я окончил два факультета, а учился на трех. Жертвовал свободным временем для изучения истории. На хлеб зарабатываю зубокачественной практикой, заведу клинику. Кроме стоматологии, изучал историю в Стокгольмском университете, там же совершенствовался в политике Восточной Европы и специализировался по балтийским языкам. Если на все хватит времени, пойду дальше, добиваться степени доктора, но это очень трудно осуществить, если имеется и другая работа. Однако эту мысль я не отбросил.

— О Ваших публикациях...

— М-да, как все начиналось. Я гостил в Латвии, и как-то раз на Янов день за кружкой пива мы заговорили о развитии некоторых исторических событий в Латвии. Мои собеседники начали треп по поводу очень «чувствительного» в то время вопроса — каким образом в пределы Советского Союза попала Латвия? Я тогда еще основательно не занимался историей, но общие факты мне были известны. Коротко пересказав ход событий, я упомянул пакт Гитлера—Сталина (Молотова—Риббентропа), о котором у моих собеседников не было никакой информации, о том, как затем происходила торговля территорией Литвы. Мой рассказ вызвал особый интерес, и многие студенты высказывались в том смысле, что не могу ли я изложить эти вопросы подробнее. Но я заметил за собой, что мне не хватает методических подходов, и поэтому, вернувшись в Швецию, я приступил к работе над брошюрой и к изучению истории в университете.

Выходит, тот разговор на Янов день и подтолкнул меня к началу занятий.

Эта маленькая книжечка, которой сознательно дан провокационный заголовок в советском стиле: «Балтийские республики накануне Великой Отечественной войны», — вызвала довольно широкий интерес, и люди, обращаясь в Национальный фонд, не раз задавали вопросы по поводу той. Издатели книжечки — PBLA — раскритиковали данное мной название. Ведь на Западе сказали бы: «Довоенный период Балтийских стран» или нечто подобное, но я осознанно придерживался данного мной названия, чтобы не сразу раскрывалось, чем является работа в действительности. При написании я пытался использовать так называемую советскую орфографию, т. е. ту, которой пользуются в сегодняшней Латвии. И тоже сознательно, чтобы не вызвать реакции, которая доносится из Латвии по поводу тех или иных публикаций в изгнании: «Вообще-то неплохо, но звучит словно из 30-х годов».

Да, эта книжечка неожиданно стала популярной, только что подготовлено новое, пересмотренное издание, которое, думаю, тоже выйдет нынешней осенью.

Кроме этого я много писал для газет, у меня есть, например, обширный обзор по вопросам Финляндии. Я также принимал участие во многих начинаниях латышей, преподавал историю последнего периода — и в латышских школах, и в Институте общественных наук. Приходилось выступать с докладами как в Америке, так и в Европе. Мною было замечено, что по вопросам новейшей истории, интерес к которым очень велик, по-прежнему не хватает литературы. С одной стороны, наши западные историки всерьез еще не брались за историю Латвии, с другой стороны, из написанного здесь только в последние годы можно отыскать интересные и даже весьма интересные пассажи. Фактически только в последние полтора года. Наконец появился действительный интерес

к прояснению исторических проблем, а не только пропагандистская гонка.

— Возвращаясь к Вашей «брошюрке»... известно ли Вам, какой произвела она резонанс в Латвии?

— Мне известна только та публикация, в которой советская сторона старается полностью умолчать о ней. Всегда выходило так, что как лично меня, так и Национальный фонд ругали на все лады, нам приписывались всевозможные грехи — и дела секретных служб, и многое другое. В подобных случаях как здесь, так и там отзывались на мои статьи, а о книге не произносили ни слова. Кто-то из Латвии мне сказал, что она была такой «гнушной»...

— Очевидно, это можно объяснить паническим страхом режима перед правдой о том, что тоталитарные державы противправными способами уничтожили независимость трех небольших Балтийских стран.

— Именно поэтому. Мне стал понятен в ту далекую ночь жгучий интерес молодых людей, когда я следил за их реакцией. Мне стало понятно, что если эти факты станут широко известны, то это будет угрожать легитимности советской власти в Латвии. Поскольку обстоятельства, при которых создавалась Советская Латвия, фактически совсем не согласуются с той версией, которая прежде проводилась в советских публикациях. Во-вторых, органам власти очень неприятно, что моя работа раскрывает тесное сотрудничество между Советским Союзом и фашистской Германией. Ведь Советский Союз всегда выступал в качестве единственного и последовательного борца против фашизма, что, между прочим, и терминологически неверно, т. к. фашизм и нацизм не одно и то же. Итальянский фашизм никогда не преследовал евреев, к тому же фашизм вырос из идей социализма, из недр итальянских профсоюзов. В основе нацизма заложено совершенно иное — это движение крайнего немецкого шовинизма, которое, несомненно, во многом оттолкнулось от социалистических идей. Не будем забывать и о том, что Сталин неоднократно пытался договориться с

гитлеровской Германией до 1939 года, но Гитлер не принимал этого во внимание.

— Внимательно следя за событиями и публикациями последнего времени в Латвии, можете ли Вы сказать о раскрытии новых аспектов, проясняющих 1939—1940 гг.?

— Опубликованы подробности, которые весьма интересно характеризуют процесс. По общим чертам, разумеется, нет существенной разницы между опубликованным в последние полтора года в Латвии и тем, что было известно Западу. Но в отношении деталей очень важны публикации в газетах «Литература ун Максла», «Падомью Яунатне», изредка в «Цине». Надо сказать, что нынешние события в Латвии довольно часто изумляли не подготовленный к тому Запад. Моей личной реакцией сначала было глубокое недоверие. Однако после прямых встреч с представителями Народного фронта и другими людьми из Латвии, которых я ни в коем случае не могу упрекнуть в обмане (хотя мы всегда воспринимали советскую информацию как ложную), я начал оценивать происходящее с большой долей надежды. Хочу согласиться с Расмой Шилде-Карклиней, которая считает себя оптимисткой. Хочу надеяться, что правда будет на ее стороне.

— Удовлетворены ли Вы достигнутым?

— В известной степени да. Моя книжка о Балтии издавна также на шведском языке. Ее используют ведущие шведские историки. Естественно, советская сторона предьявляет смехотворные обвинения — мол, я являюсь агентом ЦРУ и получаю плату непосредственно от штаба ЦРУ, ну и т. д. Деньги, конечно, нужны всем, но, к сожалению, чеки из Америки до меня так и не дошли. Моя позиция была и остается неизменной: чем больше меня бранят учреждения Советской власти, тем болезненнее и точнее попадание. Поэтому я воспринимаю подобное резко отрицательное отношение почти как комплимент.

Интервью провел  
ПЕТЕРИС БАНКОВСКИС



ТУТЕРСКИЙ ДУБ

# «ЛАТВИЯ» — МАГИЧЕСКОЕ СЛОВО

(Я. РАЙНИС, К. СКАЛБЕ, Э. ВИРЗА, А. РУНЬГИС  
О ВОЗМОЖНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ  
ЛАТВИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА, НАРОДА,  
ОБЩЕСТВА)

Мы идем к возрождению своего государства. Может быть, оно близко, а может и нет. Но одно ясно: без государственной самостоятельности мы, латыши, сохранить себя как нацию не сможем. Вместе с тем важно понять, какой будет эта новообретенная государственность, какими будем в ней мы. Послевоенные поколения воспитаны в духе нетерпимости, одномерного мышления, «или — или». При смене вывески, государственных служащих, замене минуса на плюс структура общественных отношений автоматически не изменится. Мы должны культивировать вариативное мышление и образ действий. Демократия без регуляторов, демократия без реальных опор ведет к анархии. Тому свидетельство — развитие Латвийской республики в двадцатые годы. И наоборот, единовластие, автократия, пренебрежение скрупулезным и обязательным исполнением законов приводят к последствиям катастрофическим. Трагизм такого пути обнажается в судьбах Латвии во второй половине тридцатых годов, с еще большей беспощадностью — в послевоенный период. Где же выход? Могут сказать, что это дело профессиональных политиков, их задача — искать выход. Но если мы сами — каждый из нас, по меньшей мере многие, мы, народ, не будем думать в этом направлении (пусть дилетантски, пусть изобретая велосипед), существует опасность сохранения все той же системы тоталитарной власти, при которой одни разрабатывают и предписывают, а другие послушно козыряют и исполняют. Разрыв между теми, кто управляет государством, и теми, кто занят рядовой работой (крестьяне, рабочие, учителя и т. д.), не должен быть велик, иначе мы снова начнем молиться на одну идею, одного человека, один путь развития. И тогда у нашего малочислен-

ного, ослабленного народа уже не будет сил начать все с начала, с нуля.

Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что сегодня мы больше мечтаем о Латвии и меньше реалистически и конкретно взвешиваем, что и как в той Латвии станем делать. Мы словно внезапно очнулись от длительного паралича. Каждое, самое простое, движение, действие вызывает в нас боязнь и неуверенность. («Что будет? Смогу ли я?») Конечно, без мечты, без идеала латвийского государства нельзя или во всяком случае трудно не потеряться сегодня в этом во многом безнадежном времени и пространстве. Но если мы будем думать только об одном — о Латвии наших грез, будем грезить об идеальном обществе, то однажды наступит болезненное отрезвление. Ведь и в той Латвии, которой мы чаем, на поверхности окажутся корыстолюбцы, ловкие ребята, иуды новой марки. И они — точно так же, как это было раньше и как происходит теперь, — начнут трепать налево и направо все, что для народа свято. Коли будем сидеть сложа руки и ждать явления богатыря Лачплесиса, который этих нечестивцев «одним махом убивахом», Латвии не будет. Если станем мямлить понуро, глядите, мол, вот она какая, независимая Латвия, вот они каковы, новые-то правители... и не попытаемся собственными силами изменить все к лучшему, Латвии тоже не будет.

Для того, чтобы из утраченных с течением времени фрагментов, из этих черепков сызнова сложить единое независимое латвийское государство, надо знать, как оно складывалось впервые.

Не резон воспринимать как истину в последней инстанции то, что писалось Райнисом, К. Скалбе, А. Руньгисом (сторонниками демократического строя), Э. Вирзой (сторонником автократии). Несогласие может навести на размышления в не меньшей степени, чем единомыслие.

Какое государство «слепим», в большой степени зависит от того, насколько хорошо мы представляем себе все плюсы и минусы периода независимой Латвии (1920—

1940). Выбранные для ознакомления четыре автора — Ян Райнис, Карлис Скалбе, Эдвартс Вирза, Айварс Рунгис — конечно же, не единственные, кто размышлял и писал о латвийском государстве, о путях развития нации. Есть и другие, и, я надеюсь, к их взглядам мы еще обратимся.

Читателю предлагаются небольшие отрывки из двух статей Райниса — «Письмо старому другу о любви и этике» (1915) и «По вопросу о национальности и космополитизме» (1917). Упомянутая в первой работе партия — это социал-демократы, которых Райнис упрекает в чрезмерном преувеличении классового момента.

Размышления К. Скалбе взяты из девятого тома его собрания сочинений, выпущенного в 1939 году. Фрагменты, принадлежащие перу Э. Вирзы, почерпнуты из его монографии о Карлисе Улманисе (1935). Статьи Э. Вирзы «Крестьянин и политика» и «Некоторые размышления» полностью опубликованы в сборнике «Под сенью знамени» (1935). В свою очередь, три другие статьи целиком напечатаны в его публицистической книге «Новая поверка» (1936).

Имя Айварса Рунгиса — прозаика, поэта, публициста — мало известно даже латышскому читателю. Родился в 1925 году в Латвии, живет в США. Автор одного из наиболее глубоких и продуманных, на мой взгляд, исследований о латышской и возможных выживания латышского народа — «... и сквозь столетия проходят латыши» (1982). Мы публикуем фрагменты из этого обширного труда.

#### ЯНИНА КУРСИТЕ

### РАЙНИС:

... Это ужасное время меня совершенно измучило. Наш народ и отечество умерщвляют — а у него такое скромное желание жить как положено народу, стать самостоятельным. Здесь и вина партии, учившей стремиться только к благополучию класса и индивида, но не к живому организму — самостоятельной нации. У нас некоторые представляют себе классы вне народов, исходя из космополитизма, неверно именуемого интернационализмом. Но человечество состоит не из личностей, а из народов. Перепрыгнуть через этот этап развития нельзя, точно так же, как неправильно эсеры в свое время хотели перепрыгнуть через капитализм. Если мы, латыши, это будем делать, то выродимся как народ, а извести латышский народ — значит причинить большой ущерб человечеству, ибо мы только начали делиться с человечеством своими духовными богатствами.

1915

(«Письмо старому другу о любви и этике»)

\* \* \*

... Человечество органично организовано в народы, а не в механические толпы. Нельзя отринуть существование народов, отрицая их. Нельзя перепрыгнуть через этап национального развития человечества сразу в безнациональный космополитизм. Это мышление столь же нелогичное, т. е. недиалектическое и неэволюционистское, вопреки законам развития, каким в свое время страдали русские народники, желавшие миновать стадию капитализ-

ма и перемахнуть в социалистический строй; на деле они бы очутились в общине. Так и нынешние космополиты, отказываясь от своего народа, перемахнули бы не в безнациональное государство, а только в другой, больший народ-угнетатель. Нынешний этап развития требует не самоизничтожения, а упорядочения народов по национальным образованиям для достижения полноты развития. Эти национальные образования могли бы складываться во все более крупные общности, пока не охватили континенты и все человечество, а там, может быть, возникли бы новые большие народы с новыми языками, возможно, с одним общим и прочими отдельными языками. Но и это явилось бы не механическим космополитизмом, а органически возникшим целым и общностью живых организмов. Это долгий путь, и он должен быть пройден шаг за шагом; нельзя объявить, что сегодня мы уже в конце его. Такой подход — не логическое мышление, а духовное убожество, убаюкивание себя фантазиями. Этого основному классу, как самому прогрессивному, более всего следует остерегаться.

Каждому народу, в том числе и латышскому, присущ жизнетворный инстинкт: не вырождаться — развиваться дальше, обрести самостояние и возмужать. Таково мое убеждение, и оно доказывается в моих глазах основным классом и великими боями за переустройство общественной жизни, в ходе которых и мужает латышский народ.

Высшая народная политика — пробуждать в народе этот инстинкт жизнеспособности — в материальном, культурном и духовном плане. Класс, являющийся в народе гегемоном, и должен проводить такую политику. Тот класс, который озабочен величайшими проблемами народа, а не только своей выгодой, сам развивается. Тот класс, который способен возвысить свои интересы до уровня общенародных, побеждает. Но тот класс, который, взяв на себя руководящую роль, отказывается от решения величайших вопросов своего народа: поддержания и развития его культуры, самостоятельности, бытия, — такой класс не только вредит себе отсутствием идеализма, но и утрачивает руководящую роль (ибо эта роль исторически обусловлена); случается, класс возлагает на себя непосильную ношу и в конце концов употребляет обретенное преимущество только в своих узкокорыстных интересах. Или же великие вопросы народной жизни узурпируют совершенно ничтожные клики частных политиканов, и тогда все обращается в карикатуру.

... В рабочем классе имелась тенденция отказываться от латышского дела, от содействия культуре; передоверить народное дело обывателям; требовать не национальной, а лишь территориальной автономии, где руководство сохранялось бы за другим, большим народом; думать не о будущем своего народа, а только о сиюминутном — такова была реальная политика узколобых практиков и инертных приверженцев шаблона.

1917.

(«По вопросу о национальности и космополитизме»)

### КАРЛИС СКАЛБЕ:

В 1917 году в Риге еще велись неопределенные разговоры об автономии, и только. Звезда независимой Латвии взшла в Валке, где поздней осенью собрался Латышский Национальный Совет, чтобы выразить протест против присоединения Курземе к Германии и провозгласить Видземе,





Liepāja. Annas tīrgus.

ЛИЕПАЯ

Курземе и Латгале неделимым, независимым государственным образованием, определением строя в котором займется Учредительное собрание Латвии. Так впервые была провозглашена Латвия. Дни выдалась мрачные. Рига пала, страна расколота надвое, народ разобщен, истерзан и рассеян. Немногие оставшиеся латышские общественные организации и газеты нашли последнее пристанище в крохотной Валке. С болью смотрели мы, как латышские стрелки, бывшие когда-то надеждой единого народа, маршируют прочь, в Россию, хотя у них не было другого выхода, если они не хотели попасть в плен к немцам. Выборный Видземский Земельный Совет раскололся на две половины, ибо преобладавшее левое крыло определенно склонялось на сторону большевизма, а либеральные и демократические партии следовать за ним не могли. В то же время в Валмиере уже возник «Исколат», объявивший пролетарскую диктатуру. На его сторону встала и армия. И у выбранного по всем демократическим законам Земельного Совета недоставало ни мужества, ни желания отстаивать свои суверенные права. Он был готов к медленному закату или к тому, чтобы занять положение второстепенного светила рядом с красным солнцем «Исколата». Но «Исколат» приговорил его к смерти. С расколом Земельного Совета не осталось больше ни одного учреждения, которое могло бы говорить от имени единого народа. А этого требовала ставшая игрушкой в руках чужой власти судьба нашей разделенной страны и ее народа. В Курземе возник, вернее, был назначен немцами Земельный Совет, который выразил желание присоединиться к Германии. Надо было поднять свой голос против подобной фальсификации народного волеизъявления. В этих условиях и замышлялась Латвия и был составлен из всех виднейших организаций и политических партий (кроме социал-демократов) Национальный Совет, чтобы воплотить волю единого народа иметь свое государство, независимую Латвию. Идею единой, независимой Латвии, провозглашенную в торжественном воззвании Национального Совета

ко всем латышам, народ воспринял с восторгом. Народ впервые во всей полноте увидел высоко вознесенную над раздирающими классовыми схватками цель: единая страна и сплоченный народ, увидел независимую Латвию, узрел в дыму революции прекрасный народный замок. Понятно, революция тоже только лишь содействовала достижению этой цели, разрушив прежнее самодержавное государство, чтобы вольные народы смогли утвердить на его руинах свою новую жизнь. . . . Народ никогда не был столь отзывчивым и щедрым, как в эти дни. За короткое время различные организации собрали на цели Национального Совета изрядную сумму. Воззвание «Ко всем латышам» было отпечатано тиражом 25 000 экземпляров и распространено, при посредстве Центрального Комитета по делам беженцев, по всей необъятной России. В далеких лагерях латышских беженцев этот призыв к независимости Латвии воспринимался как светлая и радостная весть. Повсюду создавались отделения Национального Совета, которые собирали и сплачивали рассеянный народ под флагом независимой Латвии. Этот флажок в виде значка носили на груди все наши первые национальные деятели. Помню, по окончании заседания Национального Совета в Валке ныне покойный Залитс отцепил флажок и тихо, проникновенно сказал, подавшись вперед: «С этим знаменем мы войдем в Ригу!». А в ту пору в Риге Вилюмс принимал свои парады и вокруг царил революционный хаос. С такой вот глубокой и светлой верой начинали первые национальные деятели борьбу за независимую Латвию. Прекрасное время планов и замыслов! Здесь, в Валке, были задуманы, а частично и созданы виднейшие учреждения искусства и культуры Латвии: Национальный театр, Национальная опера, организованная в Петрограде заведующим отделом возрождения А. Фриденбергом и уже во время оккупации переведенная в Ригу. Здесь на вечерах, исполненных энтузиазма, у гостеприимного хозяина Рукелей обсуждались и нужды Фонда культуры. Латвия была истерзана и разрушена, но тем прекраснее и совершеннее возникала она в наших

мечтах. Мы видели в ней мать, собирающую воедино изрубленную плоть своего народа и оживляющую ее чудотворной живой водою.

И в Латвии был свой Вифлеем, маленькая бедная Валка, над почерневшими низкими крышами которой сверкали тогда такие крупные, такие яркие звезды. И пусть через десятилетия, когда общество погрязнет в грубом материализме, над Латвией вновь воссияют эти ранние звезды.

1928

(«Замышление Латвии»)

\* \* \*

Свобода шла к нам не торопясь. Она напоминала нашу северную весну. Солнце сменялось холодным ветром, надежда — разочарованием, и так продолжалось долго. Вспоминая спустя десять лет те июньские дни, я будто наяву слышу ее неторопливые шаги. Медленно, словно бредя наощупь в рассветающей мгле, народ вышел на дорогу, ведущую к свободе. В это время чужаки силой хотели присвоить то, что ему принадлежало. Они тоже рядились в тогу «освободителей». Коммунисты освободили нас от немцев, немцы — от коммунистов, чтобы править нами. Только тогда мы разглядели своих настоящих освободителей — солдата из народа, от сохи; покрытые загаром от солнца и ветра, они шагали по рижским улицам босиком, рядом с пушками.

Многочисленные мгновения одно за другим мелькают в памяти. Очистив Ригу от коммунистов, немцы принесли с собой в город массу трупных мух. Это были странные, противные, желтые мухи. Они роились над Матвеевским кладбищем, где возле вырытых ям стояли некрашенные гробы. В них лежали расстрелянные, которых подобрали по дороге сюда. Их было много. То не были павшие в уличных боях — этих вылавливали и расстреливали где-нибудь у забора, на городской окраине. Это отнюдь не были и революционеры, ибо все сколько-нибудь значительные вожаки коммунистов удрали. Немецкая власть, которая вновь устанавливалась по всей Латвии, вызывала в народе ужас и отвращение.

С какой же радостью мы приветствовали пушки, гремевшие под Юглой, снаряды, с коротким просверком падавшие уже в городе. На улицах раздавались выстрелы северян. Помню, мы забились в какую-то подвальную квартиру и, прячась и ликуя, внимали этим звукам свободы. Они казались нам раскатами священного грома, что громыхает, гоня дьявола. Верно, так оно и было задумано. Видно, стрельбу вела опытная рука знатока, так как не слышно было, чтобы кто-нибудь пострадал от этой пальбы.

Только вот с утра высохли краны. Говорили, что северяне порвали водопроводную нитку. Бабы с ведрами собирались во дворах и толковали о происшествиях. Всюду витало ощущение близкой свободы.

И вот настал день победы. Немецкая военная колесница отступила за Даугаву с последней видземской добычей. Земля наконец увидела своих настоящих освободителей. Украшенные Яновыми гирляндами, в город вошли победители — северяне. Впереди на белом коне — стройный знаменосец. За ним наша подлинно народная армия во главе с полковником Земитансом и полковником Калниньшем. Лошади коричневой масти, словно выпряженные из плуга, волокли пушки. Рядом с длинными зелеными стволами шагали пышнобородые босые солдаты с обветренными лицами. Необычное, простодушное благородство, коего не видывали за все эти мрачные, кровавые годы, исходило от них. То были настоящие сыны нашего народа, нашей страны. Лица их светились сознанием силы и доброты. В радостном смущении мы шли с ними рядом, пожимали их большие, натруженные руки. Столица, не раз терпевшая голову в смене власти, привязалась к ним с искренним доверием.

Победители вошли в город, и — никто не был расстрелян, хотя враг еще далеко не сложил оружие. И в этом тоже проявилось смиренное благородство народного войска. Латышская армия пришла в Ригу как к себе домой. Она никого

не хотела запугивать напрасно пролитой кровью. Она пришла со спокойной уверенностью в том, что «земля эта наша, города эти наши». И эта убежденность восторжествовала. Сила и доброта, которые присущи лишь крестьянскому народу, изо дня в день неразрывно связанному с землей и солнцем, отвоевали для нас нашу страну. Сила, доброта и мудрость да ведут ее и впредь!

1929

(«День победы»)

## ЭДВАРТС ВИРЗА:

Все мы знаем, что такое обжитое место. Это такое место, которое стоит на наших костях, наших обычаях, но мы еще не знаем, что такое обжитая страна. Это страна, которую мы наполнили не только своими мертвецами, но и своими трудами и верованиями. Если народ дал имя городу, реке, горе или озеру, то надо представлять себе, что это не случайно. С каждым таким названием связано известное событие, религиозное верование. А если к тому же представить, сколько веков должно пройти, какая смена идей, образов должна произойти, прежде чем эти имена станут общепризнанным достоянием, то мы можем сказать, что наша земля насыщена духом, что мы пашем и засеваем одухотворенную землю. Ибо что у латышей самое древнее?

Не песня, не какой-то божок, чье имя мы вычерпываем из глубин дайны, как почерневшую дубовую колоду со дна реки. Нет, это поле, которое тысячи лет не оставлялось под залежь. И такое утверждение не голословно, ведь были времена, когда наши предки спасались от вод и болот на холмах и равнинах. Задумайтесь же, сколько людей копались в таком поле, сколько лошадей брело по нему в потных хомутах, какие только надежды не связывались с ним целыми поколениями! Смело можно сказать, что здесь в каждой песчинке растворены целые солнца радостей и горестей. Это поле старше церкви, от него и восстал Бог, чтобы затем вознестись в горние выси и небесным владыкою освящать полевые работы. Поле, в глубинном своем значении, как и Бог, не имеет ни начала, ни конца, ибо, когда поле распаханно, то и Бог раскован, и раскрывается великая книга Его.

Но, вспахивая поле, мы закладываем и первоосновы общественного порядка. Ибо что такое дом и пашня вокруг? Это рубеж, а там, где рубеж, там владение и оборона. И вот, когда некий кусок земли опоясан рубежами и построены дома, то в один прекрасный день находится волостной староста. Он тот, кто упорядочивает порожденные землей общественные отношения; и как древнелатышский бог пчел Усиньш выбирается из дубовой расщелины на верхушку дуба, чтобы наблюдать за севом ячменя на полях, так и волостной староста, выходя из недр общественных отношений, взбирается на вершину волости, дабы следить за правильным исполнением порядка. Он не более чем продолжение авторитета государства, он в своей волости наместник государственной власти и столь же безошибочен, как она, если держится в пределах закона.

Эта обжитая, одухотворенная земля и связанный с нею порядок — одна из величайших и могущественных сил на свете. Они вкуче образуют то, что называется духом страны какого-либо народа, духом, который не умолкает и властвует даже тогда, когда сам народ, обитавший на этой земле, уже погреб. Здесь сокрыта тайна, неизъяснимая

в словах, выше человеческого разума, она не что иное, как Бог земли сей. Поэтому каждый настоящий народ, если он не отступает от духа своей страны, много сильнее числа ее жителей, и, побежденный, он побеждает.

(«Карлис Улманис»)

\* \* \*

Что же такое в конце концов семья и родство? Это сознание того, что все близкие произошли от одного корня, что в них течет одна и та же кровь, в которой отложилась память об общих могилах и общих колыбелях. Каждая семья — это замкнутый мир, и он покоится на тайне, неизвестной и недоступной другим. И всякий член семьи, идущий отмеренным ему путем от пеленок до савана, дышит одним и тем же воздухом родства.

Когда вы летите на аэроплане над нашей землей, то видите, что Латвия сложена из отдельных полей, а если подняться над народом, то можно увидеть, что он состоит из отдельных семей. Те, кто знаком с историей римских войн, знают, что древнеримские воины, идя на приступ осажденного города, поднимали над головами щиты и сдвигали их так плотно, что весь легион оказывался как бы под сплошной бронзовой крышей и тем делался неуязвимым. И вот, если все семьи нашей нации поднимут над головами щиты своей общности и сдвинут их вплотную, то неуязвимым и непобедимым станет и латышский народ.

История [наших] семей и есть латышская история, и чем больше мы будем придерживаться семейных обычаев, тем глубже пойдем самих себя и теснее будем держаться вместе. Всемирное укрепление семейных связей между латышами не пустяковый вопрос, это национально-политический вопрос. У латышей есть писатель Аустриньш, который нутром это чувствовал: «Я вижу, как наша сумрачная, большая комната наполняется духами усопших, выступающими из темных углов, прямо из подземья. Там, в белесой чреде душ умерших, я зрю не только отца, мать, деда, но целый длинный ряд предков, выплывающий из седой старины. К ним присоединились крестные и сестра с мужем. Пораженный чудом, я гляжу на эту нескончаемую вереницу предков, передавших мне свой дух, свою кровь, свой язык и свое несокрушимое жизнелюбие, свою неприязнательность и свое смирение. Это наследие столь велико, что я смотрю на окружающее как бы глазами своего дома и до сих пор еще говорю на родном, домашнем языке».

Народ, обладающий таким осознанным или неосознанным чувством родства, не может погибнуть. Он связан узами крови прочнее, чем железными цепями. Уничтожить его можно лишь целиком, но не порознь.

(«Карлис Улманис»)

Отнимите (у народа) землелашцев, сеятелей и скотоводов, и там, где когда-то кипела трудом отчизна, будет погост — зеленый летом, белый зимою. И не только потому, что с крестьянством связано нечто изначальное, они сами — живое дыхание народа. Можно срубить у дерева верхушку — оно будет зеленеть, лишит его ветвей — оно даст побеги, но придется топор по тому месту, где корни уходят в ствол, и оно бесповоротно будет увядать. В народе это место принадлежит крестьянам, стоящим на том загадочном перепутье, откуда проистекают кормление и размножение народа, две незыблемые его основы.

Но крестьянин не просто возвышается, упираясь в эти великие стихии. Как леса, вырастая, и падая, и гния на земле, обратились в огромные залежи каменного угля, так и поколения крестьян заложили в народе необозримые богатства — результат пережитого, и заложили отнюдь не втуне. В этой лаборатории прошлого совершается неустанная работа. Пока те поколения, что на поверхности.

борются ради настоящего и будущего, из мастерских былого поставляются им непрерывно добавочные силы в виде новых талантов, гениев либо психологически своеобразных личностей. Пока на фронте живых воюют, в тысячелетнем тылу народа идет работа, чтобы живым достало духа и веры. Так абсолютно неосознанно, однако повинувшись какому-то непонятному закону, народ, этот замкнутый и вызвезденный мир, заботится о своей нетленности. И как знать, может, новый гений, пущенный в плаванье по крови поколений века или тысячелетия тому назад, сейчас находится на пути к нам.

Это размножение и кормление ради жизни — дело одновременно и тонкое, и глубокое. Крестьянин, утвердившийся на своем подворье и в своем доме, постоянно овеивается вздохами приходящих в сей мир и вздохами уходящих из него. Облегчение слышится в дуновении, с которым прорастает зерно, лопаются почки, и, словно сбрасывая тяжкую ношу, приходят в мир все остальные живые существа, и покидают они его тоже, словно сбросив с себя тяжкий груз. Крестьянин ежеминутно окружен всем этим, и так как он постоянно соприкасается с извечным производством бытия, то привык с чувством превосходства и равнодушия взирать на все остальное. Он твердо убежден, что все возвращается на круги своя, к нему, без которого ни один порядок обойтись не может.

Хлеб, саженцы, деревья вырастают из земли, а народ — из крестьян. Он не может существовать без них, людей, живущих одной жизнью с землей, уподобляясь ее плодородному поверхностному слою, где берут питание корни всех тех растений, которые покрываются листьями. Почему крестьян величают сильными людьми? Не только потому, что они живут на селе, не потому, что над ними, как суровый Божий бич, занесен труд, а потому, что они сохранили — одинаково могущественными — добрые и злые инстинкты. Подобно тому, как корни оплели всю землю и жилы — человеческую плоть, так и этими инстинктами, мощными и могучими, пронизан дух крестьянина. Запахи хлеба и духмяный жар хлебов в печи сливаются воедино на крестьянском дворе. Так же и крестьянский дух — это двор, где зарумянившиеся в тиглях небесных и древних поверий думы соседствуют с наклонностями, порожденными адом. Все это вместе взятое формирует плодородную духовную почву, которая дает народу силу и спасение. Крестьян считают грубыми, но по чертам и резам обрабатываемой земли лепил народ свой тонкий, одухотворенный лик; их называют алчными, но зерна из крестьянских закромов стекаются в общие закрома государства, и жалобный стон растекается по дереву, если они пусты.

Поколения приходят и уходят, а земля пребует вечно. Пусть будет вечен и тот, кто обрабатывает эту землю. И потому, если мы хотим возвести нечто непреходящее и прочное, нам надо строить на крепком фундаменте. По этой причине и строитель нашего нового порядка, прежде чем приступить к делу, взял в руки метлу и стал подметать латышскую землю, чтобы вымести накопившийся за десятилетия хлам и увидеть, что под ним было сокрыто. И первое, на что он натолкнулся, был двор крестьянского хутора со старым дубом, стоявшим посреди него как дерево владычества и лада.

(«Вечная земля»)

\* \* \*

Несмотря на то, что все искусства произрастают из духовной почвы народа, литература все же связана с нею теснее других. Она коренится в языке народа, этом таинственном, бездонном и звучащем море, с которым она нераздельна. И чужеземец не может нас понять раньше, чем выучится называть на нашем языке все то, что он видит, о чем думает и что чувствует. Ни живописцы, ни музыканты, ни ученые не связаны так прочно с народом, как писатель. У них иные средства выражения, их понимают без слов, а писатель, употребляя средства языка, находится в непре-



МАТИШИ

станных отношениях с заключенными в нем вечными ценностями. У писателей есть нечто общее с крестьянами. Подобно тому, как те не могут покинуть свою землю, не лишаясь при этом всех основ, так и писателю никуда не уйти от духовной почвы, от языка. Когда Латвия еще была в подчинении у России, мы видели, как уходили из нашей страны ее ученые, многие художники и музыканты, но писатели оставались, и никакими наживками нельзя было извлечь их из большого народного озера. Долгое время они единственные подбадривали и сплывали латышей, ибо с прекращением объединяющего воздействия народных песен латыши духовно общались друг с другом через посредство своей литературы. То были легкие, которыми они дышали, и глаза, коими видели.

(«Указателям неизменной действительности»)

Географическое положение страны оказывает большое влияние на всю ее политику. Более того, земля и границы ее обуславливают. Внутренняя структура государства может перемениться сверху донизу, но тем не менее его политические приемы останутся прежними, коль скоро оно существует на той же земле и в тех же пределах. Хороший тому пример — Россия, которую даже самые радикальные перемены не смогли отвлечь от старых методов и прежних друзей и врагов. То же самое можно сказать и о Франции и Германии.

Политикой Латвии тоже истари руководил гений этой земли. Будучи небольшой, окруженной могучими соседями страной, она держалась и существовала по двум причинам. Благодаря своему выгодному географическому положению, что имеет большие преимущества, на которые многие зарились, снedaемые завистью друг к другу, и благодаря своей политике. Большое и сильное государство может особо не размышлять — его материальное могу-

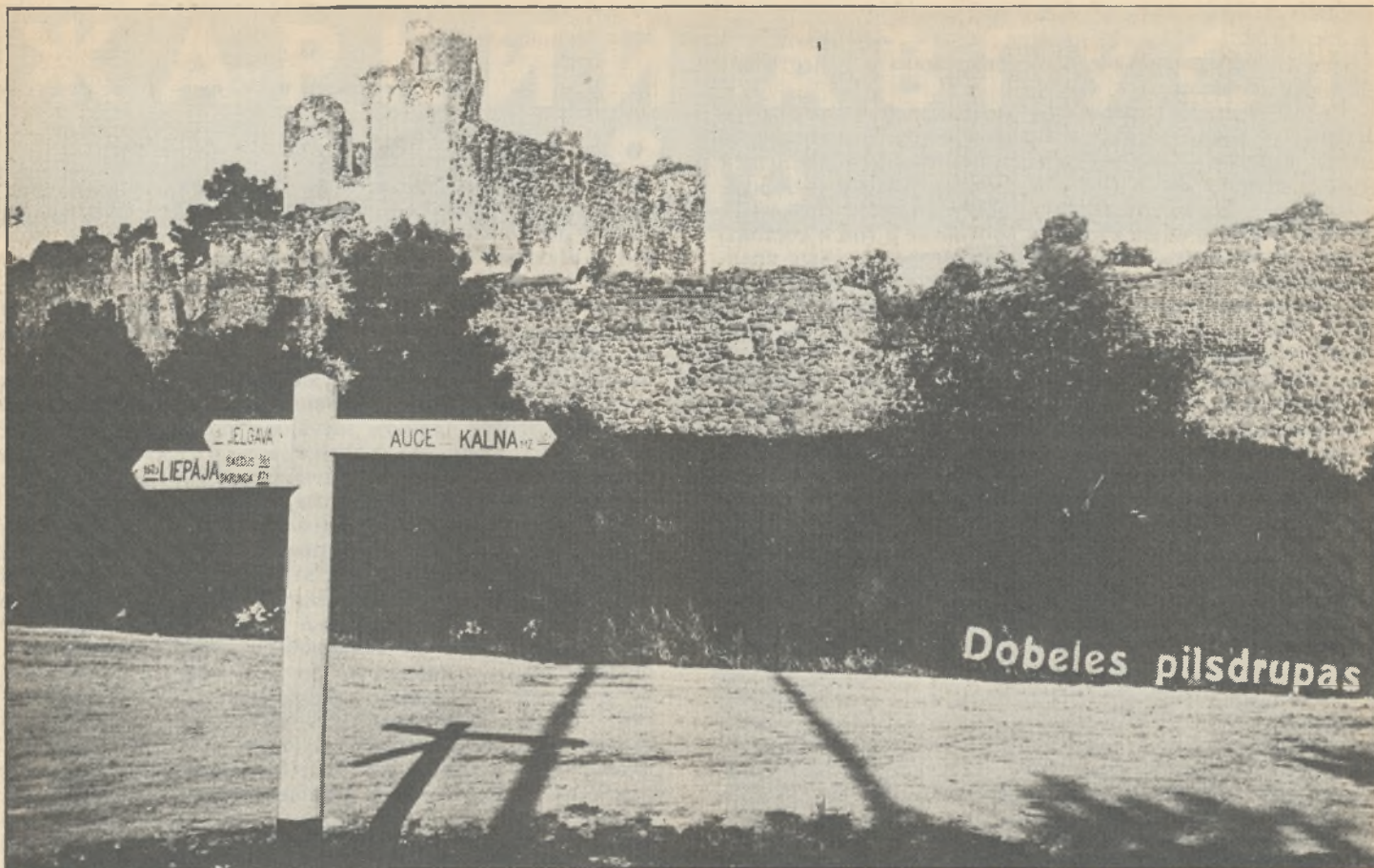
щество само по себе достаточный аргумент во всех спорных вопросах, и оно знает себе следует своим обычным путем. Но маленьким государствам, находящимся на перекрестках мировых дорог, приходится проявлять необыкновенную изворотливость, чтобы сохранить свой суверенитет. Здесь недопустим ни малейший налет рутинности, ибо политика ведома не широкой и тяжелой поступью, а жидется на политическом маневре, на том, что составляет подлинную суть политики. Здесь приходится непрерывно оттачивать и ум, и сметку. Поэтому руководитель маленького государства, умеющий сохранить его при всех поворотах истории, гораздо больший гений, чем руководитель большого государства, действующий лишь при помощи силового давления.

... Нам нужна не мораль, а политические учения, коренящиеся в нашем прошлом. Национальная диктатура и национальный пафос — это прекрасно, но еще лучше знать, и притом каждому гражданину, как их отстаивать.

(«Балтийский дух»)

\* \* \*

Нет такой лести, которой не был бы удостоен за последнее время латышский крестьянин. Крестьян именуют и первоисточником всех наших духовных и материальных ценностей, и образцом прилежания и бескорыстия, и вечным и несокрушимым фундаментом всех грядущих строений. Во всех этих обозначениях много правды, и если крестьянину уделяется столько внимания, то это потому, что все видят в нем большое, хотя и спящее пока, величие. Только это отнюдь не единственная причина восхвалений. Подобно тому как современные машины нуждаются в керосине, бензине или электричестве, которые приводили бы их в движение, так и громадная государственная машина нуждается в энергии для своего движителя. И тут мы со страхом замечаем, что у нас не так уж и много ис-



РАЗВАЛИНЫ ДОБЕЛЬСКОГО ЗАМКА

точников подобной государственной энергии. Рабочие? Поддав под власть ложных идей, они могут увести наш государственный корабль в такие бурные воды, где он неизбежно погибнет. Те шестьдесят тысяч чиновников, что снуют в наших государственных учреждениях? Это слишком неустойчивый и ненадежный элемент. Не будучи сами по себе властью, они чутко внимают всем властям. Что же у нас остается? Остаются держатели и владельцы плугов, сеялок, скота, хуторов и полей, два миллиона человек, находящихся в железной зависимости от природы и всяческих мировых перипетий. Они суть смазка и источник энергии государственной машины. Эти люди, одетые в толстые сукновки и обутое в длинные резиновые сапоги, находятся теперь в центре всеобщего внимания. Полагают, что в них сокрыта великая сила, которая, если обратить ее на дело, может свернуть горы.

(«Крестьянин и политика»)

\* \* \*

Самая большая угроза всякому новому общественному порядку заключена не в его противниках, а в его сторонниках. Победу куют для того, чтобы проторить дорогу, и осуществляют это, как правило, горстка людей. Они приносят с собой новые веяния. Они взвихряют атмосферу, и все легкое и непрочное тотчас взбаламучивается. Но вскоре пионеры нового времени обнаруживают, что их со всех сторон объяли плевелы. Этим словом мы называем людей, которые присоединяются к новому порядку, как только пробил двенадцатый час. У них нет ничего общего с теми идеями, что изменили все вокруг, но они видят, как пробивается к свету молодое и зеленое деревце, и рассчитывают с выгодой полакомиться его листвою. Их усердие чисто показное, и всякий внимательный наблюдатель тотчас заметит несоответствие между их словами и поступками. Они все приземляют, вводят в русло обыденности, так

как воздух интриг и бескрылого практицизма — это их воздух. Новое время должно беречь от них свои крылья. Каждая идея в их руках превращается или в нечто жалкое и смешное, или обливается грязью. В нынешние времена остерегайтесь не столько врагов, сколько друзей, которые являются, чтобы погасить священный энтузиазм ваших сердец.

(«Некоторые размышления»)

## АЙВАРС РУНЬГИС:

Есть ли будущее у латышского народа?

Лично я настроен оптимистически, поскольку живу с несокрушимой верой в будущее латышского народа; не будь у меня этой веры, мое латышское существование потеряло бы всякий смысл. Я твердо убежден, что латышский народ может существовать, если обладает желанием, волей и зрелой мудростью, чтобы преодолеть встречающиеся трудности и вызовы судьбы. Я свидетель этой воли к существованию.

Я не становлюсь пессимистом и скептиком, когда думаю, что было бы все же большим преступлением игнорировать возможность пессимистического исхода, например утраты национальной идентичности латышского народа в «советском народе». Я

думаю, что возможность такого пессимистического исхода должна быть оценена прежде нашей «несокрушимой веры» и «рационалистического убеждения» в существовании нашего народа.

Ради будущего народа нам следовало бы подвергнуть широкому анализу свою новейшую историю и выяснить самое главное — кто мы такие? Не является ли нашей превратно понятой миссией так часто встречающаяся роль воннов у радетелей и преобразователей мира или иных господ? Или же наша судьба и проклятие в том и состоят, чтобы не понимать либо толковать превратно наше предназначение? Да и есть ли у нас, латышей, какая-либо миссия на этом свете, и присуща ли она вообще народам? Или: есть ли какое-то преобладающее латышское ощущение справедливости, которое столь сильно, что не дает нам обдумывать все не торопясь и с умом, а заставляет действовать по велению души, причем так, что мы всегда, оказывается, чересчур спешим и в конце концов проигрываем как тактически, так и стратегически в результате недодуманных действий?

Основная угроза существованию латышей может заключаться и в факторах психического склада:

а) в большом желании латышей, безразлично в какой ситуации, быть первыми, быть лучшими, быть впереди, что оценивается ясно неоднозначно; это может быть угодничанье, стремление к месту и не к месту «вертеться у разных-всяких перед глазами», так, словно латышская народная мудрость и жизненный опыт ничему современных латышей не научили, не дали недвусмысленного намека, что и маленький народ может выжить и существовать на такой территории, где скрещивается множество политических и военных магистральных дорог европейского континента, не оставили в наследство никакого понимания того, что вторично, а что первично и требует отстаивания всеми силами и средствами;

б) в сравнительно слабом или плоском и неразвитом национальном сознании латышей, коэффициенты которого, может быть, лучше всего выявляют пристрастие к громким словам, биение себя кулаком в грудь и стучание кулаком по столу, а вместе с тем отсутствие выдержки и рас-

судительности повседневно, когда надо холить и лелеять свою национальность.

(«Поиски в людях — в нас самих»)

\* \* \*

Почему многие наши отцы и матери, почему наше общество, по крайней мере в официальных декларациях, почему латышская идеология так привязаны к земле предков, к Латвии? Почему поиски как будто бы более сытой жизни «на теплом юге» России и «за океаном» не опустошили Латвию от латышей до дна, и почему наиболее предприимчивые искатели счастья даже вернулись или пытались вернуться назад? Почему безрассудные, хотя и предлагаемые по доброте душевной, планы переселения всех латышей из Латвии в геополитически более спокойный и мирный уголок планеты звучали и звучат в наших ушах утопично? Потому что история маленького латышского народа началась в Латвии, где народ еще теснее, чем кровнородственными узами, связан духовным родством, а также и чисто мистическими связями, явившимися результатом общих переживаний и чувствований на этой земле. У нас предощущение, что все эти связи порвутся и исчезнут и никогда не возникнут вновь у рассеянного по свету народа, лишённого своей земли, своей Латвии, и с тем погибнет народ, сложившийся в ходе истории на территории Латвии, народ, чья миссия, как мы попытались тут выяснить, заключается в его существовании, в его бытии. Современные общественные науки лишь способны подтвердить то, что о вопросах существования народа и национального знали, может быть инстинктивно, наши отцы и матери, что заключено в нашей латышской идеологии. Поэтому народ для своего выживания должен удерживать свою землю, и латыш, где бы он ни находился, должен чувствовать непосредственную, личную связь с этой землей, как с отчизной латышского народа.

(«Предпосылка возвращения»)



ОПЕКАЛНС

# ЖАРКИЙ АВГУСТ 68-го



21 августа 1968 года советские войска — точнее, войска стран Варшавского Договора — были введены в Чехословакию: брежневскому руководству не понравилась «пражская весна» — она угрожала клановому благополучию.

«Пражская весна» вызвала у нас сочувствие и надежды. Мы узнавали о событиях в Чехословакии слушая радио Праги и западные радиостанции, читая «Руде право» и «Литерарни листы». Даже из начальственных окриков московских руководителей и тенденциозных сообщений в официальной советской прессе было очевидно: в Чехословакии начался процесс демократизации.

Мы понимали: самоосвобождение Чехословакии неизбежно сказалось бы на общественно-политической ситуации во всех странах Варшавского блока, рано или поздно — и на ситуации в СССР.

Но скорее поздно, чем рано, — думали мы и не связывали с этими событиями никаких, так сказать, личных надежд — сочувствие было бескорыстным. Так радуются заключенные, когда их товарищ приходит на свободу.

Незадолго до августовских событий несколько человек — П. Григоренко, А. Костерин, В. Павлинчук, С. Писарев, И. Яхимович — написали открытое письмо в поддержку Дубчека и вручили его послу ЧССР. Пожалуй, это было чуть ли не единственное открытое выражение сочувствия чехам.

Если бы, — думала я впоследствии, — многие выступили бы с петициями, заявлениями! Это не спасло бы Чехословакию от вторжения, но меньше было бы позора для нашей страны, нашего народа!

Правда, был еще рабочий Анатолий Марченко, который в 20-х числах июля, после прямых угроз советского руководства применить против мятежной Чехо-

ловакии военную силу, написал статью, где предостерегал от акта агрессии, противоречащего справедливости и международному праву. Статью он отправил в советские, западные и чехословацкие газеты. Был арестован и 21 августа — в день вторжения — судим... «за нарушение паспортного режима».

... В воскресенье, 25 августа 1968 года, семь человек — поэты Наталия Горбаневская и Вадим Делоне, рабочие Владимир Дремлюга и Виктор Файнберг, преподаватель физики Павел Литвинов, филологи Константин Бабицкий и я — провели демонстрацию на Красной площади против вторжения войск в Чехословакию.

В полдень мы сели на парапет у Лобного места и развернули плакаты: «Позор оккупантам!», «Руки прочь от ЧССР!», «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!», на чешском языке — «Свободу Дубчеку!» (Дубчека привезли под конвоем в Москву и содержали под охра-

ной, пытаясь добиться от него «одобрения» ввода войск; мы этого не знали, но «вычислили» — и не ошиблись!).

Наташа Горбаневская привезла в коляска вместе с плакатом и бутылочкой молока четырехмесячного сына — это был восьмой демонстрант Ося Горбаневский.

Через несколько минут как из-под земли выросли «люди в штатском», выхватили из наших рук плакаты и отгородили от тех, кто глазел на «происшествие». Эти «штатские» потом были свидетелями в суде, их пытались представить как «случайных» людей из толпы, выразителей народного гнева. Но все они — по документам — оказались «случайно» военными служащими одной части.

Нас били. Файнбергу выбили зубы. В толпе недоумевали, спрашивали, кто мы и чего хотим. Кто-то высказал предположение: «Это чехи!». Мы пытались объяснить, что мы советские люди и, не отделяя достоинства страны от собственного, ее позора от своего, протестуем против оккупации Чехословакии. Минут через семь подъехали легковые машины. Нас в них затолкали (Наташу с коляской и ребенком — отдельно). Сделали символический круг по площади Дзержинского с остановкой — для получения указаний или для устрашения? — возле подъезда КГБ. Привезли в 50-е отделение милиции. Оттуда — по домам, на обыски. К ночи привезли в Лефортово.

Что свело нас вместе в полдень 25 августа 68-го года у Лобного места?

Делоне сказал на суде: «За пять минут свободы я готов заплатить годами заключения».

Но было нечто большее, чем импульсивный порыв: стыд за свою страну, сознание, что Я, лично Я отвечаю за действия, которые совершаются от моего имени, и обязан их оценить.

Мы не были наивны и понимали, что демонстрация не повлияет на политику нашего государства, что с нами так или иначе расправятся — уж если с чужой страной расправились, что стоят судьбы нескольких собственных граждан?! Но, как говорится, мы не могли иначе.

«А как первая война — не твоя вина.  
А вторая война — чья-нибудь вина.  
А как третья война — то твоя вина,  
А твоя вина — она всем видна...»

Мы надеялись, что, узнав о нашем выступлении, чехи поймут, что не русские, не Россия оккупировала их, что это сделали те, кто и собственный народ стремится удержать в абсолютном подчинении, те, кто и свою страну сделал «тюрьмой народов».

В своих мемуарах «Бодался теленок с дубом» А. Солженицын рассказывал, что и его жгло чувство стыда 21 августа, и он хотел выступить с коротким, всего в три слова, заявлением: «Стыдно быть русским!». Но, подумав, что его никто не поддержит и он останется в одиночестве, не решился.

Возможно, и я бы не осмелилась выступить одна. Но были и более смелые. Мне рассказывали о парне, который в те августовские дни протестовал против оккупации Чехословакии на Октябрьской площади в Москве — один! Кто-то встретил его потом в вагонзаке по пути в лагерь. Фамилия его мне неизвестна.

Знаю женщину, которая на собрании в институте, где работала, отказалась голодовать за «всеобщее одобрение и поддержку братской помощи народу Чехословакии» — одна! Это Елена Сморгунова.

... Судили нас по ст. 190-1 («заведомо

ложные измышления, порочащие...») и 190-3 («групповые действия, грубо нарушающие...»). Горбаневскую, как мать грудного ребенка, освободили от судебной ответственности, но ненадолго — судили ее через год как автора книги «Полдень» (об августовской демонстрации) и как первого редактора «Хроники текущих событий» (информационного правозащитного бюллетеня), поместили в психбольницу тюремного типа.

В «психушку» поместили и Файнберга. Остальным пятерым суд (председательствующая Лубенцова) определил наказание: Павлу Литвинову — 5 лет ссылки (отбыл в Читинской области), мне — 4 года (отбыла в Иркутской области), Бабицкому — 3 года (отбыл в Коми АССР), Дремлюге и Делоне — по 3 года лагерей (Дремлюге в лагере еще добавили срок).\*

... С одним из моих поделщиков, Костей Бабицким, нас связывали не только короткий августовский полдень и схожая судьба ссыльных, но и общая судьба опальных филологов, навеки отлученных от любимого дела. Пытались работать в ссылке. Увы, это было обречено на провал. Костя мне писал, обменивался научными соображениями, делился размышлениями, да и просто — о быте, жизни. Сам ссыльный, пытался морально поддерживать меня. Впоследствии при очередном обыске его письма у меня изъяли.

Нас пытались лишить слова, памяти, друзей, достоинства, чести, судьбы...

#### ЛАРИСА БОГОРАЗ

И все же рукописи не горят — письма Бабицкого, вернее, их копии нашлись у его друга, ныне доктора филологических наук, главного научного сотрудника Института проблем передачи информации АН СССР Юрия Дерениковича Апресяна.

Движимый желанием сделать достоянием гласности трагическую судьбу друга, свой архив Апресян предоставил в мое распоряжение.

«Сейчас Бабицкий тяжело болен. Но что еще страшнее, его мучит неудовлетворенность несостоявшейся, как ему кажется, жизнью. Блестяще начинавший филолог, он мог составить гордость отечественной лингвистики. Поэт, мог быть любим читателями. Но после августа 68-го его знали только как слесаря, столяра, фермера, кочегара. Светлый и мужественный человек, он много раз пытался начать жизнь сначала, был готов служить Отчеству на любом поприще. У него было много друзей, к нему тянулись люди. Он стеснялся, когда нам приходилось ему помогать, и гордился нами: возможно, он сам не знал, как много давал каждому, умея видеть в нас лучшее наше «Я», умея возвысить в собственных глазах.

Увы, через двадцать лет невозможно вернуть ученого науке — она слишком быстро бежит вперед. Но вернуть соотечественникам еще одного спасенного от неза заслуженного забвения — наш долг».

\* Судьбы тех, кто мною упомянут: Петр Григорьевич Григоренко был лишен гражданства и умер в США; Анатолий Марченко после 68-го года был осужден еще трижды и умер в Чистопольской тюрьме; Вадим Делоне, вынужденный после лагерей эмигрировать, умер во Франции; умерли А. Костерин, В. Павлинчук, С. Писарев; Ивана Яхимовича посадили в «психушку»; в США эмигрировал Владимир Дремлюга; в СССР остались двое — Костя Бабицкий и я, но нам никогда уже не позволили вернуться к своей профессиональной деятельности.

«... Прощальный путь. Последние часы.  
Душа проста, как ветер, бьющий в кузов,  
свободная для всей земной красоты  
от будующих и от прошедших грузов»

(К. Бабицкий)

25.12.68.

«Итак, сегодня ровно в полдень я вступил на обетованную мне землю. Земля называется поселок Краснозатонный (8 тыс. жителей), украшена близким лесом и орошаема крупными реками — Выгеддой и притоком ее Сысолой. На их слиянии — затон, при нем судоремонтный завод. Поселок славный. И знаковый северный народ, возмещающий неторопливость в коммунальных операциях почти величественной доброжелательностью.

Возможно, это порок моего зрения, но о плохих людях я в основном только слышу, но вижу — почти одних хороших...»

27.12.68.

«Здравствуй, мама! Здравствуй в самом деле,  
то есть никогда не будь больна.  
Много тех, кто сердце мне согрели,  
но, как Русь, ты у меня одна.  
Правда, можно и в ином порядке:  
Русь одна, а братьев — целый свет!  
Ты одна, зато друзей десятки...  
Впрочем, здесь противоречья нет.  
Разве это не твое наследство —  
дружбу зарабатывать трудом?!  
Ты же, ма, меня учила с детства,  
что Земля — великий отчий дом.  
Сын твой, ма, хотел совсем немного,  
но уж тут уперся на своем.  
Выход ясен: дальняя дорога  
и, само собой, казенный дом...»

08.01.69. Л. Богораз

«Я горячо надеюсь, что твое длительное путешествие уже окончилось, не повредило твоему здоровью. Я-то в полном порядке. Работаю руками (ученик столяра на Выгеддском судоремонтном заводе). Много неясно в моей будущей жизни, но эгоистически хочется одного: реализовать в оставшиеся 20 лет мои лингвистические мечтания...»

20.01.69. Ю. С. Мартельманову

«... ничего не придало мне столько бодрости, необходимой для продолжения научных занятий, сколько деловые письма от Апресяна и тебя.

Имея бумагу и карандаш, долго изготовлял карточки и коробки для них, сейчас делаю картотеку русских корней, а заодно и старославянских...»

08.02.69.

«... Для работы у меня есть все, кроме времени...»

... процесс прошел удовлетворительно, т. е. на нем были разные люди, и те, кто способен стыдиться, имели эту возможность, видя, насколько приговоры не соответствуют материалам судебного следствия.

В заключении я не испытал особых неприятностей или лишений, а кое-что было даже интересно. Ну а здесь, в рабочем поселке под Сыктывкарком, я живу обычно — как все.

Друзья шлют научную литературу. Ее уже больше, чем я могу освоить за те примерно два часа, что остаются от моего



столярного дела, домашней работы и развлечений вроде чтения.

Я — конечно! — не жалею о сделанном. А вообще жить ужасно интересно!»

«... С тихим треском точит клин зари близкий лес ажурными зубцами. Вычегда со вмерзшими судами. Скрип шагов, паргуб, дымы

столбами — это славно, черт меня дерит!

Встанешь в семь, побалуешься чаем и шагаешь важно на завод.

По пути — как быстро привыкаем! — кое-кто меня уж узнает.

Цех звенит и пахнет, манит светом. Там, обнявши фартуком бока,

папа Карло клеит табуреты, коробка кроит у верстака.

Выхожу в волнах седого пара. А вдали — такой же Млечный путь.

Как мерцают звезды Сыктывкара! Это тоже, мать, не что-нибудь!

Телецентр, театры, институты... Но об этом как-нибудь потом.

В общем так, одетый и обутый, сытый, обеспеченный жильем,

не в изгнание, а в родной стране. Мама, не тревожься обо мне!»

03.01.69. Л. Богораз  
«Милый друг Ларочка! Давно получил два твоих письма. Главный твой вопрос — нет, не жалею...»

26.04.69.  
«Вспомни мысли Кола Брюньона после пожара: человек может потерять все, кроме душ, которые он изваял. В них наше будущее, которое проблематично, — и каждый имеет все основания думать, что именно его личного вклада недостает, чтобы решилось: быть или не быть прекрасному будущему...»

28.05.69. Ю. Даниэлю  
«Дорогой Юлий! Совестно, что Вы тратите свой эпистолярный паек на мою особу. Благодаря друзьям, мой дом — полная чаша, вплоть до Шостаковича в пластинках. Но мне тоскливо, что не могу быть вровень с задачами научными и вообще.»

С радостью отсидел бы за любого из вас. Знаю, что Вы держитесь молодцом. Жму руку...»

??.69. Дочери  
«Сегоднэ чувствовать себя устроенным материально может только человек, жрущий чужое и морально не ощущающий катастрофичности нашего мира. Мир в кризисе, из которого выйдет или справедливое всечеловеческое общество, или всеобщая гибель. И выход зависит от всех и от каждого, значит, от меня и от тебя.  
... А жизнь все-таки прекрасна. Только надо твердо знать, что радость редка, как все хорошее. Радость — это спуск со взростой высоты. Спуск краток, а на высоту надо карабкаться, обрывая ногти и срыва-

ясь на осыпях, долго и, как иногда кажется, безнадежно.

... Я давно понял вот что: ничто стоящее не произойдет, чего не задумает сердцем, не спланирует разумом и не выполнит руками своим человеком. В жизни постоянно что-то пропадает и портится — от нашей глупости, злобы и лени. И людям, которые хотят добра всем, ничего не остается делать, как снова и снова, в тысячный, в миллионный раз восстанавливать и создавать хорошее на основе истины, любви и красоты. Нельзя окончательно обеспечить разумного порядка никаким единовременным актом, а надо непрерывно бороться за него. Нельзя добиться безвозвратной победы добра, можно достигнуть лишь временного динамического перевеса. Это и в общественной жизни, и в личной тоже.

... Никогда все не достигается и никогда нельзя считать все потерянным. Так что приходится биться рыбой об лед. Ничего другого приличному человеку не дано... Но надо уметь находить источники питания радостью, без которых этой тяжелой жизни не осилить. Это общение с хорошим человеком, искусство, природа...»

09.10.69. В. Делоне  
«... не ожидая от людей слишком многого, нередко бы ваю согрет теплым словом товарищей-столяров. А уж друзья и близкие балуют. Бывают у меня, шлют книги и всякое баловство...»

... А на дворе уж сорок лет. В общем, Вадик, не будем дрейфить, а сделаем, что можем, а больше того с нас взять нечего...»

... Днем я устанавливал на теплоходе «В. Устюг» отремонтированные мною двери. Вечером изучал славную статью об уменьшительных суффиксах. По воскресеньям занимаюсь предлогами, и понемножку — языком коми. Сам понимаешь, как это расширяет кругозор!»

??.69. Л. Богораз  
«... теперь, когда я знаю, что могу и чего не могу, меня уже не волнуют дальние страны, новые люди и домашние работы. Достаточно тех, которые неизбежны. Я больше и больше думаю о малости оставшегося времени...»

??.69. А. Н. Косыгину, Председателю Совмина СССР

«Уважаемый Алексей Николаевич! Решаюсь побеспокоить Вас по важному для меня вопросу. Я лингвист. Сейчас отбываю ссылку в Коми АССР по приговору Мосгорсуда за участие в происшествии 25 августа 1968 года на Красной площади. Работаю столяром, жизнью, в общем, доволен.

Я обращаюсь к Вам, разумеется, не с целью просить о вмешательстве в решение судебных властей. Но текст приговора не лишает меня права печататься. Тем не менее две мои научные работы сняты с производства. От кого бы ни исходила

эта мера, решение о ее правомерности ходит, очевидно, в компетенцию исполнительной власти.

Мои попытки установить инициаторов этой меры и их мотивы не имели успеха, но насколько я знаю, непосредственное решение было принято в руководстве Института русского языка и Института востоковедения АН СССР.

... Невозможность публикаций не помешает мне, в силу свободного времени, продолжать научную работу. Но она принесет ущерб развитию советской науки и в какой-то мере ее приоритету. Это обстоятельство кажется мне важнее преходящих оценок моей osoby.

Я позволю себе, уважаемый Алексей Николаевич, предложить Вашему вниманию следующий тезис: публикация научных работ должна зависеть от их научной ценности, а не от имени их автора...»

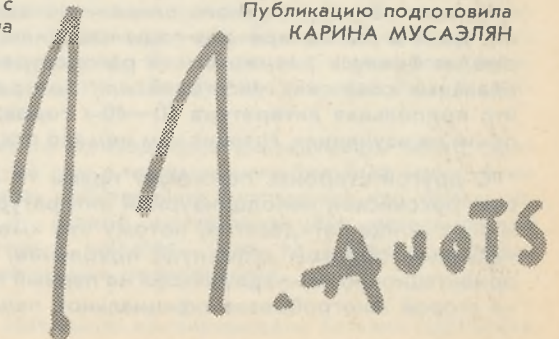
Из воспоминаний Ю. Д. Апресяна  
«Конечно, Бабицкого не печатали, несмотря на ходатайства его друзей. Более того, когда Костя вернулся, ни в Институте языкознания, ни в Институте русского языка, где его отлично знали, он не нашел пристанища. Мы обзвонили около пятидесяти имеющихся в Москве институтов, где Бабицкий мог бы получить работу по специальности. Работы не было. Тогда Костя позвонил Валентину Иванову, инструктору Отдела науки ЦК КПСС, и сказал, что на работу его не принимают, хотя он не был поражен в правах. «ЦК не имеет права оказывать давления на научные учреждения», — ответил Иванов. Однако впоследствии стало известно, что Иванов позвонил в Фундаментальную библиотеку АН и ряд других организаций, чтобы Бабицкого ни в коем случае не принимали...»

Перебивался Костя случайными заработками, ремонтировал дачи. Потом его устроили краснодеревщиком в Щельково, под Костромой, в усадьбе Островского. Друзья собрали деньги на дом, купил он дом в деревне неподалеку. Ока с него не спускали. Директору заповедника досаждали сотрудники органов ГБ и милиции — либо пусть Бабицкий уезжает, либо пусть выпишется из Москвы...»

Годы шли в тяжелой борьбе за существование. Костя не опускал рук. Он был очень деятелен и горд: получив Щелчок в одном месте, на одном поприще, увлекал себя другой миссией: так, он долго был одержим идеей приближения русской интеллигенции к земле. У него были не только утилитарно-хозяйственные планы, но и мечты об украшении земли, например, построить ажурный мостик через овраг. Но, городской житель, он так и не приспособился к земле: дом его сгорел, куры разбредались, кролики, плодившиеся, как бешеные, у всех, у него дошли...»

Сейчас Константин Бабицкий, инвалид 2-й группы, живет в Москве.

Публикацию подготовила  
КАРИНА МУСАЭЛЯН



# ИНТЕРВЬЮ С ДМИТРИЕМ ВОЛЧЕКОМ

— Митя, я хочу тебя, редактора одного из самых популярных литературных самиздатских журналов, попросить рассказать о том, как появился самиздат в нашей стране, какова его история, зачем вообще все это нужно...

— Если говорить о хронологии, сразу же стоит подчеркнуть следующее: самиздат возник гораздо раньше, чем это принято считать. По сути дела, самиздат как факт общественной жизни России сложился уже к концу XVIII века. Только называлось это по-другому: рукопись, которая по каким-то (как правило, цензурным) причинам не могла быть издана, ходила в списках. Именно в списках, т. е. в виде самиздата, начали свою жизнь в литературе многие вещи Пушкина, Полежаева, Лермонтова, позднее статьи Льва Толстого; я не говорю уже о стихах Баркова, которые в нашей стране легально не опубликованы до сих пор... Принято считать, что сам термин «самиздат» появился в начале 50-х годов нашего столетия. Называют и имя его изобретателя: это поэт Николай Глазков, выпускавший рукописные книжки с таким титулом вместо издательской марки. Это неверно. Слово «самиздат» происхождения куда более старшего: в архивах мне приходилось видеть рукописи начала 20-х годов с такой вот пометой. Это хронологическое уточнение говорит о том, что самиздат советской эпохи был порожден вовсе не хрущевской оттепелью, как полагают многие, а родился, как только была введена «революционная цензура», а независимые издательства благополучно закрыты. По мере ужесточения цензурных ограничений рос и самиздат — количественно и качественно, разумеется. Произведения, которые мы сейчас имеем удовольствие видеть опубликованными в свежих официальных журналах: проза Замятина, «Собачье сердце» Булгакова и т. п. — все это самиздат двадцатых годов, относительно широко циркулировавший в артистических кругах. Чем дальше продвигалось ужесточение сталинского режима, тем глубже в подполье (где в салоны, а где и в катакомбы) уходила традиция неподцензурного слова — но важно отметить, что даже в самые мрачные годы находились люди, которые не боялись размножать и распространять рукописи опальных советских писателей или эмигрантов. Думаю, что подпольная литература 30—40-х годов, по сути дела почти не изученная, готовит нам немало открытий чудных.

С другой стороны, по-своему правы те, кто ведет отчет российской неподцензурной литературе нового времени с конца пятидесятых, потому что именно в те годы чудесным образом вспыхнуло поколение, для которого ориентационно самиздат вышел на первый план, вытеснив на второй многообразие официальной печатной продук-

ции. Именно в 60-х годах появился замеченный Надеждой Мандельштам анекдот о молодом человеке, который отказывается читать «Войну и мир»; матери этого юноши приходится перепечатывать роман на машинке, чтобы выдать книгу за свежий самиздат. Так развлечение столичных барышень, усердно копировавших в альбомы «свежего Пушкина», оказалось для их праправнуков не просто интеллектуальной фрондой, но и (тьфу!) доминантой социальной жизни. Многие, надо сказать, на этом погорели. Между прочим, почти произносимое официально русское слово «самиздат» (само по себе пародия на скрежет зубовный канцелярского «госиздат») калькой вошло во все серьезные языки не хуже широко разрекламированного «спутника».

— Когда возникли первые самиздатские журналы?

— Опять же, если быть точным, в начале 20-х годов. Сейчас их, как это всегда бывает, вроде бы отыскали и кое-что собираются репродуцировать. Однако тогдашние неофициальные издания (как правило, рукописные) долго существовать не могли, да и широкого хождения не имели. Мне приходилось держать в руках рукописные книжки (есть о них очень толковое исследование Осоргина), которые делал в 1919 г. Ходасевич: в те вегетарианские времена они продавались в Книжной Лавке Писателей наряду с торжественными подписными изданиями прошлого века. Больше торговать было нечем, ибо типографии по случаю революции почти не работали. В дальнейшем, конечно, о таких вольностях и помыслить было нельзя: как известно, уже в 1926 году у М. Булгакова был обыск по поводу контрреволюционной рукописи «Собачье сердце». Что до журналов, то, как известно, даже в годы хрущевской оттепели немногочисленные попытки такого рода изданий жестоко пресекались. Впрочем, история самиздата последних двух десятилетий достаточно известна, и повторять очевидные вещи смысла нет. Но, право, как не вспомнить журнал «37», своим возникновением (1974—75 гг.) ознаменовавший эпоху консолидации интеллектуальной оппозиции! А существующие по сей день «Часы» (семьдесят с лишним толстых номеров вышло), до сих пор поражающие читателей немислимым по нашим демократическим тискам плюрализмом — какие только имена, какие только странности не встречаются на страницах «Часов»! И множество других, конечно. Сейчас, когда хорошим тоном стало говорить о кризисе самиздата, его неактуальности, его гибели, по сути дела мы видим, как самиздат рождается. Посудите сами: только за последние два года в стране образовалось около пятидесяти новых неофициальных журналов всех направлений — мыслимых и немислимых... Вот еще одна любопытная выкладка из сферы статистики: в Ленингра-

де, как известно, три официальных литературных журнала — «Нева», «Звезда» и «Аврора». А самиздатских литературных же — ровно в три раза больше — девять. Правда, о конкуренции речь не идет, не те тиражи у самиздата, но факт остается фактом.

— И среди этих питерских изданий — «Митин журнал» ..

— ... который я имею несчастье издавать. Первоначально журнал возник (1982 г.) как печатный орган небольшого литературного кружка — поэтов и прозаиков, группировавшихся, если так можно выразиться, вокруг Юрия Галецкого (ни в коем случае не путать с художником-репатриантом Ю. Галецким). Потом, конечно, кружок, как это бывает, оказался слишком тесен — впрочем, слава Богу. А начинать приходилось просто с нуля. Тогда, в 1982—1983 гг., он выходил под названием «Молчание». Название, кстати сказать, до сих пор кажется весьма удачным. Уточню сразу же: мне не хочется насыщать разговор обязательными фразами о каком-нибудь там «молчащем поколении» — все это, конечно, дешевые рассуждения в духе либеральной советской критики и ничего общего с действительностью не имеют. Почти не имеют, ибо жилось действительно тяжело. Но это не претенциозное неконформистское молчание олимпийца (изжит ли сейчас этот низкопробный феномен провинциального подполья?), а, если угодно, субстанция мистическая — речь идет о каком-нибудь молчании ужаса, гипсовой маске Горгоны — подобный рельеф украшает академические здания (бывшие конюшни?) возле Петербургской Биржи. Разговоры о каких-то немых поколениях (сколько этих тихих, затравленных до изнеможения, но вместе с тем удивительно наглых людей просиживает целыми днями в хитросплетенных коридорах всяческих совписов! Один даже кричал при мне: «Требую, я требую, чтобы мне выплатили гонорар за все, что я не смог опубликовать по вине бюрократов в застойные годы!»), эти разговоры поражают какой-то своей провиденциальной неметкостью. В то время, когда Литинститут боязливо восторгался метаметафоризмом, а в «Литературной газете» сначала хвалили, а потом с достоинством оплевывали «Малую землю», где-то в ином мире (не удержавшись от сентиментального всхлипа) ковалась (или в ретортах каких-то кипит?) отечественная словесность. Отрадно наблюдать, как вышеупомянутая словесность мстит (да мстит по большому-то счету!) всем этим ничемным западникам и славянофилам, которые с таким рвением пикируются на официозных страницах. Вселенские эти споры на фоне удручающего ничтожества того, что эти люди приносят в собственно литературу, выглядят прямо-таки гротескно. Каким унылым средневековым веет, скажем, от эпистолярных споров Астафьева, Эйдельмана и компании — споров, которые, кажется, кое-кто не прочь сейчас выдать за непревзойденные достижения художественной и общественной мысли. Вырождение, что ли? Не поймешь. А чего стоят, скажем, дебаты о «Новом мире» Твардовского (говорят в основном о подписавших какое-то унылое письмо в 1969 году) — журнале, беззвучно утверждавшем некую «социальную роль литературы»! Особенно пикантно, что этот выдающийся редактор (Твардовский), как утверждают мемуаристы, прежде всего спрашивал нового автора: «Против чего направлено Ваше произведение?», — а стихам во всех случаях предпочитал публицистику (как правило, немудреные очерки о тяжелом положении колхозного крестьянства). Этот гладиаторский идеал способен вселить в душу злое уныние и сейчас, двадцать лет спустя.

Теперь собственно о «Митинском журнале». Не обойтись без скучной справки: журнал под таким названием выходит с 1985 года, издается раз в два месяца, объем каждого номера — 300 (и больше, больше!) страниц, выходят также приложения в виде многочисленных собраний сочинений или отдельных сборников отечественных, зарубежных и космополитичных авторов. Все прочее — в текстах. На одном хочется сделать упор: очень много внимания

уделяет журнал раскопкам с последующей публикацией. Но это не истерическое «порвалась связь времен» — общее место среднеинтеллигентского создания семидесятых. Найти порванное, включить свою нить в вековую пряжу — таковой была (или, скорее, казалась) задача культурного парвеню десятилетней давности. Сейчас эта задача, кажется, существенно дискредитировала себя. С романтизмом расставаться легче всего. Все, что случилось в первое пятилетие восьмидесятых (иначе как катастрофой не назовешь), заставило (кого? меня? нас?) по большому счету отказаться от иллюзий. В том числе и от иллюзии наследования. Теперь, кажется, уже очевидно, что та традиция, которой пытались следовать домашние неконформисты десять — двадцать лет назад (и которая — скажем в скобках — была ими же во многом сконструирована, неточно домыслена), по сути дела обречена на неживой мрамор. Неофициальная культура (да была ли такая?) была изначально ориентирована ложно: уцепиться вместо того, чтобы оторваться. Не удержусь от симпатичной цитаты из недавнего интервью русско-американского поэта Льва Лосева: «Деление на официальных и неофициальных так стремительно уходит в прошлое, что хотелось бы предложить другое — поэты и авангардисты». Правда, Лосев говорит о поэтах как о роде безупречном и с сомнением об авангардистах. Мне кажется, что все наоборот, но в принципе мысль Лосева верная. Еще один штрих: с 1983 года мы дружим с американскими авангардистами («Лэнгвидж скул» в Калифорнии). Это прозаики и поэты, которые находятся в довольно-таки неприятной изоляции в американской академической среде и выпускают свой собственный самиздат (на веленовой бумаге, тысячу шрифтов). Так вот, короче, оказалось, что лучшие авторы «Митинского журнала» работают в том же направлении, что и эти высококолыбье американцы. Да в общем, на смену строгой и прозрачной силлабо-тонике приходит размытый и беспринципный стих. За ним, за ним текущее будущее!

Я много говорю о поэзии и невольно обхожу прозу. А о ней пару слов сказать надо. Неконформистская идеологически литература, рьяно процветавшая в недавние годы, теперь ужасно скуксилась, прямо стыдно все это читать. Нынешняя коллективная рефлексия по поводу сталинских ужасов, зажеванная бестолковыми «Детьми Арбата» и иже с ними, — откуда берется, из какого тараканьего сундука? Да Бог с ней, скучно.

— Что именно печатает «Митин журнал»?

— Достаточно (достаточно ли?) серьезная популярность журнала объясняется, возможно, полным отсутствием консервативной предвзятости в выборе текстов. Мы печатаем абсолютно все, заслуживающее внимания (из того, что нам дают, разумеется). Правда, с существенной оговоркой: избранный текст должен чуточку соответствовать тем мистически неуловимым флюидам, которые скучная критика обозначает как (тьфу) литературный процесс.

— Есть ли у журнала ведущие авторы?

— Перечислять десятка два имен, которые либо абсолютно ничего не скажут читателю, либо скажут что-то абсолютно не то, особого смысла нет... Тем более что карта абсолютно не определена, музей не строят уже лет тридцать... Так что пусть остается анонимность, которой, собственно, и славен самиздат. Впрочем, могу признаться в давней редакторской любви к Володе Сорокину, Аркадию Драгомощенко, Татьяне Щербине, Оле Комаровой и др. и пр. Как будет выглядеть вождеделенная карта лет через пятьдесят, когда все утрясется, остается только гадать.

Мне так часто приходилось рассказывать об истории журнала в духе «по улицам ходила большая крокодила» или расписывать собственную биографию, что, право, хочется уйти от всякой конкретики. Все остальное — в текстах, которые, надеюсь (или не надеюсь), увидит вскоре все легальное человечество.

**ПЕТР ВАЙЛЬ,  
АЛЕКСАНДР ГЕНИС**

# СКАЗКИ О ГЕРМАНИИ

ПЕТР ВАЙЛЬ И АЛЕКСАНДР ГЕНИС. РИЖАНЕ. С 77-ГО ГОДА ЖИВУТ В НЬЮ-ЙОРКЕ. АВТОРЫ КНИГ «СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ПРОЗА», «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ. ЭМИГРАЦИЯ: ПОПЫТКА АВТОПОРТРЕТА», «РУССКАЯ КУХНЯ В ИЗГНАНИИ», «60-е. МИР СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА», «РОДНАЯ РЕЧЬ».

## 1. Вместо пролога

Легко представить себе Африку в виде большого острова, заселенного львами, носорогами и неграми, срывающими цепи колониализма. Или Азию, составленную из одинаковых узкоглазых людей, фанатически роющих могилу белым братьям. Даже Америку — бескрайняя прерия, утыканная небоскребами и закусочными «Мак-Дональд».

Но вот Европу никак не охватить одним поверхностным взглядом. Для каждого Европа означает что-то свое, глубоко личное, даже интимное.

Европа всегда что-то говорит российскому человеку. Ленинградцы находят родную торжественную геометрию в лондонских банках. Одесситы радуются итальянским пляжам, где похожие на грузин и евреев аборигены кричат понятное «порка мадонна».

А нам, выходцам из нерусской и даже неславянской Риги, нравится другая Европа — ветхая Европа бюргерских городков, Европа черепичных крыш, булыжных мостовых, узких, как коридоры коммунальных квартир, улиц. Такая Европа обычно говорит по-немецки, потому что именно страшная и безумная Германия сохранила средневековые в той уникальной полноте, когда для наслаждения им — достаточно поднять голову. Или вслушаться ранним утром, как тикают часы на городской ратуше.

Патриотизм — страшная штука. Любовь к родине, особенно если ее пишут, как в букварях, с большой буквы, всегда напоминает о зловещих вещах — например, о военных парадах...

Но в эмиграции, как бы взамен государственному патриотизму, развилась болезненная любовь к родному углу. И вот все эти Черновцы, Кишиневы, Таллинны превратились вдруг в микрородину, уютное родовое гнездо.

И вот собираются на бруклинских кухнях бывшие киевляне, харьковчане, одесситы и самозабвенно перечисляют трамвайные остановки, винные магазины, проходные дворы. И выясняется, что завод «Поршень», Сушевка или

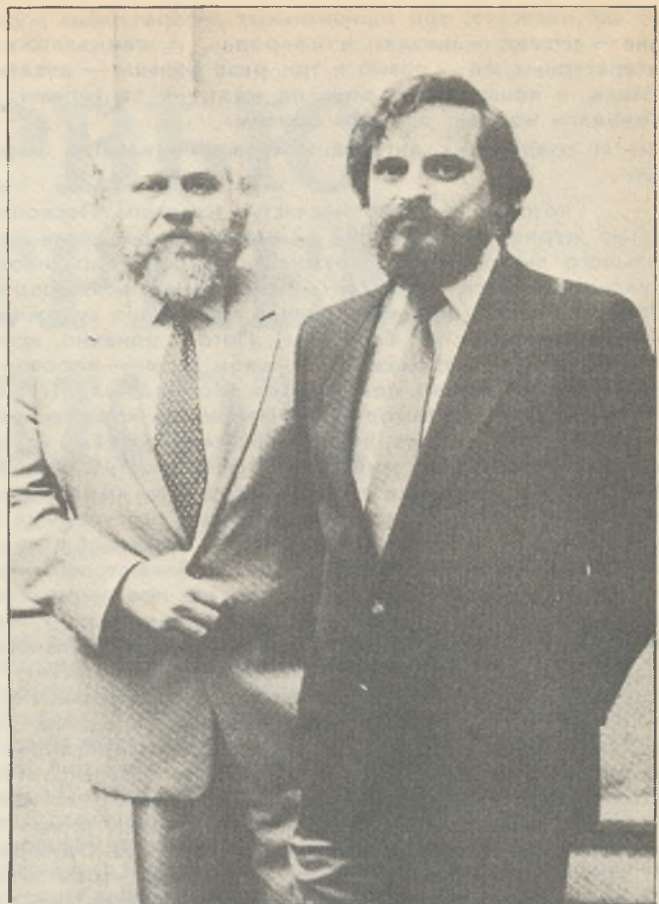


Фото МАРИАННЫ ВОЛКОВОЙ

Шестнадцатый фонтан звучат куда теплее, чем Красная площадь, Эрмитаж или шапка Мономаха.

Годы, прожитые на Западе, не отучили и нас вспоминать родной город. Напротив, с нелепой горячностью мы все спорим: что больше похоже на Рижское взморье — старая Англия или Новая? И нас несколько не смущает, что в мемуарном бреду провинциальная Рига вырастает до всемирного арбитра изящного.

Человек навсегда связан с первым ощущением стиля, стиля в глобальном смысле. Собственно, родина — это и есть стиль. Деревья (сосны, березы, сирень), звери (кошки, чайки, ежи), дома (высокие потолки, окна до пола, узкие фасады) — все это стиль. Он образовал нас, сформировал наши вкусы, привычки, этикет. И теперь никакие экзотические перемены не заставят полюбить пальмы или небоскребы. Или наоборот — разлюбить черный хлеб, дюны, готику.

Хорошо, когда удастся этот стиль воссоздать на чужой почве. Разыскать русскую пекарню или пляж в Лонг-Айленде. Но вот с готикой уже сложнее. Тут нужна история.

Американцы вкладывают массу сил в устройство собственного прошлого. Они разумно лелеют археологические ценности — вокзал Гранд-Централ, кинотеатр, где убили гангстера Диллинжера. Но стиль создается веками, а главное — он не терпит насилия.

Кого из нас не охватывало ощущение оперной ненастоящести в Суздальском кремле или Римском форуме? Места, предназначенные для наслаждения, теряют привлекательность внезапной радости. Аромат истории мимолетен и призрачен, как первая любовь, зато и оставляет после себя такой же горьковатый привкус интимности. Любовь и фальшь несовместимы.

## 2. На родине Щелкунчика

В Германию следовало бы въезжать на конной тяге. Здешней природе свойственна неторопливость. Так же, как Америке подходит автомобиль, Голландии — велоси-

пед, а России — нескорый поезд (дребезжанье чайных стаканов, дерматиновые коридоры, станции с петровскими названиями — Анненков Пост, Кемь, Ерофей Павлович).

Вот именно так, в наемном фаэтоне, в Германию въехал первый русский романтический путешественник Карамзин. Правда, Германия, а значит и Европа, началась тогда ближе — в Митаве-Елгаве. В городке, расположенном всего в 50 километрах от Риги и отмеченном гением Растрелли (сейчас во дворце его постройки — сельскохозяйственная академия).

Тогда, в 1789 году, Карамзин писал: «Мысль, что я уже вне отечества, производила в моей душе удивительное действие. На все, что попадалось мне в глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенны». Это ему — «обыкновенны». А нам?

Тогда еще Россия составляла часть Европы. Глухую, отсталую, но все же провинцию цивилизованного материка. За прошедшие 200 лет Россия переместилась во всех направлениях: вширь и в будущее. И при этом перегрызла пуповину, связывающую ее с Европой.

Когда мы пересекали доросшую до Австрии государственную границу, не было уже «предметов весьма обыкновенных». Была кунсткамера, наполненная диковинами — от порнографии до супермаркета.

Германия — страна лесов, как наша, скажем, Вологодщина, с той разницей, что для русского крестьянина лесная чаща была вековым врагом, а для немца — другом. В конце концов, Германия родилась в лесах, им поклонялась, ими оберегала свою свободу (римляне именно из-за непроходимости германской чащобы оставили в покое местные племена).

Для римлян, детей счастливого юга, лес был антитезой цивилизации. «Кто, — спрашивал великий историк Тацит, — покинув Азию, или Африку, или Италию, стал бы устремляться в Германию с ее неприютной землей и суровым небом, безрадостную для обитания и для взора, кроме тех, кому она родина?»

Немцы наслаждаются лесом. Они собирают грибы и ягоды, охотятся и просто бродят по обильным здесь сосновым борам. Говорят, что Шишкин происходил из немецкой семьи. В это легко поверить, потому что в его пейзажах лес и пошлость соединились как раз в таком соотношении, чтобы завоевать сердца тучных баварцев, страстно влюбленных в свой Байеришер Вальд.

В немецком ресторане вы можете заказать оленину с можжевельником и даже получить на гарнир жареные лисички. Лес здесь не превратился в парк. Он даже остался источником пищи, правда, теперь дорогой и изысканной. А ведь и Америка покрыта лесами, но попробуйте уговорить американца съесть сыроежку или убедить его в том, что земляника растет не только на грядах.

Трудно представить уютные горы, или уютное море, или уютную пустыню. Но лес может быть уютным. Он такой и есть, даже если в нем заблудишься.

Пожалуй, уют (не путать с комфортом) как раз и есть та определяющая эстетическая категория, которой можно выразить первое, да и последнее впечатление от Германии. Уют противостоит величию. И кажется, что именно из-за избытка первого Германию так привлекало второе. Государственная мощь должна была как бы компенсировать чересчур домашний облик страны. Кстати, наверное поэтому сами немцы называли свой уют романтическим. Мы все-таки привыкли вкладывать в это понятие нечто бурное — океан, пиратов, Байрёна.

У нас дома всегда были немецкие елочные игрушки. В Риге, где евреи говорят по-немецки, думая, что изъясняются на идиш, это обычно. Игрушки эти делают из невесомого стекла и присыпают какой-то крошкой, похожей на сахарную пудру. Лесная избушка, один-два шарика, сосулька — и елка приобретает торжественный и новогодний облик. Все остальное уже излишество. В немецких игрушках, как в сушеных грибах, дух германского уюта находился в исключительно концентрированном виде.

И вот нам довелось побывать в том месте, откуда поступают в мир экстракты сказочной романтики. Это был крохотный городок — Ротенбург-на-Таубере. Отсюда совсем недалеко до замка Шпессарт с его привидениями, а в погожий день видна гора Брокен, которую изображает каждый оперный театр, располагающий достаточной труппой для постановки «Вальпургиевой ночи».

В Ротенбурге — в разгар лета — шла бойкая торговля рождественским товаром — стеклянными звездами, восковыми свечами и, конечно, деревянными шелкунчиками. И еще — знаменитыми шварцвальдскими часами с кукушкой. При желании каждый из 12 тысяч жителей этого города мог, как Урфин Джюс, обзавестись армией сосновых солдатиков-шелкунчиков. И эту армию сопровождали бы целые стаи деревянных кукушек.

Там, в игрушечном королевстве Ротенбурга, нам показались что-то символическое в молодцеватой, блестящей от лака и все же грустной мордочке Шелкунчика. Как будто в этой аляповатой игрушке заключалась та самая этническая сущность, которая превратилась в гофмановские сказки, токкату Баха, «Апокалипсис» Дюрера.

Шелкунчик счастливым образом сочетает в себе воинственную челюсть с безобидными функциями, простодушный крестьянский юмор с аристократическим изяществом мундира. Воспетый Гофманом, положенный на музыку Чайковским и воплощенный на сцене Барышниковым, Шелкунчик служит еще и связующим звеном традиционного русского Нового года и патриархального немецкого Рождества.

Ведь это немцы первыми придумали украшать елку, класть в детские чулки игрушки и долги рождественскими ночами рассказывать страшные истории. За три века этот обычай распространился по всей Германии, завоевал Европу, утвердился в Америке, где наконец пышно расцвел в рождественском безумии Нью-Йорка.

А для нас немецкая елка стала главным атрибутом последнего торжества. Растеряв все религиозные и революционные праздники, запугавшись между Йом-Кипуром, Масленицей и Днем Победы, мы сохранили верность только старой елке. В новогодней елке для нас содержится особая, непонятная оседлому населению прелесть. Где бы мы ни жили — рядом с елкой мы всегда дома.

### 3. Гост за серых

Что может быть счастливее посредственности? Только счастливая посредственность.

«Счастливы сухоголовые и дураки, ибо страха они не знают, а зависти не имеют», — сказано в древней летописи. И нет тут ничего обидного, потому что мир может быть только посредственным. Ограниченность безопасней гения. Кто видел художника, писателя, поэта, способного не порочить коллег, без зависти говорить о классиках и без злобы взирать на окружающее? Это потом хрестоматийный глянец прикроет сволочной характер людей, заработавших интеллектуальную славу своей родине.

Правда, гении честно расплачиваются за недостатки своей натуры. Страшна их судьба.

Моцарта похоронили в могиле для нищих. Сейчас на его родине стригут купоны: конфеты «Моцарт», шницель «Моцарт», унитаз «Волшебная флейта».

Свифт страдал от недуга, причинявшего ему такую боль, что специально приставленный слуга следил, чтоб хозяин не наложил на себя руки.

Ни слава, ни деньги не избавляют гения от страданий. Вряд ли от хорошей жизни спустил курок охотничьего ружья Хемингуэй, достигший всего арсенала почестей.

Проще всего с русскими. Тут уж точно не бывает осечки: дуэль, петля, безумие.

И как все-таки заманчиво стать в оппозицию посредственности. Сколько их, готовых на все, чтобы завоевать право высовываться из толпы лишь для того, чтобы услышать спокойные слова философа: «Всякие достижения, в какой бы области они ни проявлялись, никогда не будут поняты большинством человечества».

Люди ужасно похожи на города. Ведь среди городов тоже бывают великаны, как Париж или Москва, простачки, как Орел или Цинциннати, романтики, как Одесса или Сан-Франциско, герои, как Сарагосса или Севастополь. Но самые счастливые — и среди городов — посредственные.

Есть в Европе такие улочки, которые никогда не знали столичного шума. Их никто не завоевывал, никто не защищал. Никто не стремился превратить их в Третий Рим, Северные Афины, Восточную Венецию. До них вообще никому не было дела. И это прозябание обернулось великим благом. Потому что посредственности дали развиваться по своему желанию. А главное желание посредственности — не развиваться.

Так на теле Германии образовалось чудо — Ротенбург-на-Таубере. Город, который остался таким, каким его построили 700 лет назад.

Понятно, что может быть прекрасен собор, дворец, крепость. Но в наше время они прекрасны только как «вещи в себе». В век, когда стиль утерян, только огрызки его — правда, величественные и прекрасные — могут донести идею общего.

Ротенбург — это город, которому никто не помешал сохранить стиль целиком. Здесь нет великих соборов готики, дворцов Ренессанса, церквей барокко. Здесь — только стиль. Городок, построенный мещанами так, чтобы здесь было вкусно жить и не страшно умереть.

Домики в два-три этажа, церковь с изрядной колокольной, крепостная стена, — у кого же тогда не было крепостной стены, — рыночная площадь с фонтаном. Вот и все. И этого довольно, чтобы мы хотели здесь родиться, издавать здесь русскую газету, пить прохладное пиво и покоиться под плитой, на которой будут готическим шрифтом выбиты наши полуеврейские фамилии.

#### 4. Правда сундука

Как странно, что красивые вещи, дома, улицы делали бюргеры. То есть купцы и мещане. Аристократы пользовались кубками в виде шлема Минервы и наслаждались гобеленами с аллегорическим хороводом. А простые, но зажиточные мещане обставляли свою простую, но зажиточную жизнь простой, но добротной утварью. Какой-нибудь кованный подсвечник, оловянная кружка, каминная Kocher-га или сундук. Да-да, особенно сундук.

В цюрихском музее собраны тысячи сундуков, которые, как выяснилось, отражают и историю Швейцарии, и природу, и характер. У них сундуки как живопись в Италии, театр во Франции, литература в России. В них вся поэзия мещанства, наивно, но добротна расписанная аляповатыми красками поэзия.

Господи, насколько безразличен предмет, на который простекает наша любовь! Как мало нужно площади для искусства. Как просто и естественно наша жизнь укладывается в рамки обыденного. И как расцветает она там, если мы по-настоящему что-то любим.

Величайший художник Грузии писал вывески. И есть глубокая внутренняя закономерность в том, что они прославили Пиросмани, а он, возвеличив кавказское застолье во всем безрасудстве его дружелюбия, — Грузию.

Конечно, главное в жизни — отсутствие стандарта. Кто спорит, могут быть прекрасны геометрические фигуры — в виде кварталов небоскребов. Этакая крупномасштабная красота, на которую лучше смотреть с самолета, откуда, как писал Хемингуэй, легче понять живопись кубистов. Но все равно, геометрия — от инфантилизма. Она — плод упрощения цивилизации, возврат к первобытному.

Не зря искусство начиналось с орнамента. В мягкую глину горшка тыкали пальцем: ямка — гладко — снова ямка. Уже замысел, уже порядок, уже идея и искусство. Но еще нет личности. Ямка — есть, а личности — нет.

Так и с нами. Как объяснить, что дом, в котором мы живем, ничем не отличается от того, что может построить пятилетний ребенок? Кто это придумал, что человек должен вернуться к младенчеству именно тогда, когда у него есть

все, чтобы делать все? А мы из этого «всего» выбрали кубики — детскую игрушку.

В Ротенбурге нет геометрии. Зато есть черепица, которая не бывает одинаковой — после обжига она всегда разных оттенков, и стареет она по-разному — зеленеет, покрывается мхом или плесенью. Черепицу не напишешь широким мазком — тут нужна техника пуантилизма. Такая крыша прихотлива в своих тонах, как луг или лес, и повинуется одному Богу.

И еще — скат черепичной крыши должен быть сделан под острым углом, чтобы дождевая вода легко сливалась. И никогда не найти двух крыш, одинаково островерхих. Поэтому, если смотреть сверху (а любой старинный город предусматривает такую точку зрения: с колокольни, ратуши, крепостной башни), то море крыш сливается в пейзаж, полный контрастных теней, полутонов, ярких пятен. Картина опять-таки прихотливая и стихийная, то есть, говоря по-немецки, романтическая.

Трудно понять, почему в Америке плоские крыши — наверное, так удобнее, но глядя сверху на американский город, мы лишаемся всех преимуществ горных ландшафтов перед равнинными.

Но черепица — это еще пустяк. Таких вещей вообще много. Кирпичная кладка, например. У малых голландцев есть картины, где кирпичи вытесняют людей. Питер де Хох пишет дворики, коридоры, узенькие переулочки. И где-то в них существуют люди, мебель, утварь. Но главное — тщательно выписанная кирпичная кладка, которая иногда занимает половину картины. Значит, голландцам тоже интересен был феномен обычных кирпичей, значит, они тоже видели в них счастливую гармонию геометрии с анархией, порядка со стихией, прозы с поэзией.

Гармония эта исключительно подходит к бюргерской душе. Она умеренна и постоянна, даже нетленна, потому что несет в себе здоровое мещанское начало. И поэтому шедевр, в котором она проявляется в идеальном выражении, тоже бюргерский. Это — склад, амбар. Сооружение, состоящее из черепичной крыши и кирпичных стен. Чистота идеи соблюдена благодаря функциональной необходимости.

В таком виде амбары пережили века, приобретая с ними паутину старости — всю эту замшелость или то, что японцы называют печальным очарованием вещей.

#### 5. Любовь за деньги

Бюргеры неотделимы от денег, деньги от труда, труд от бюргерской морали. А мораль эта в основе своей противостоит свободе, фантазии, искусству.

Поэт против толпы. Точнее, все-таки, толпа против поэта. Этот вечный антагонизм прорастает не из того, что толпа ненавидит анапест, абстрактную живопись, додекафонию. С этим толпа еще примириться может, но ее бесит, что поэт не хочет работать.

Искусство никогда трудом не считалось. И это — в глубине — справедливо. Нельзя получать деньги за вдохновение, удовольствие, хобби. Как отвечала домашняя писательница из чеховского «Ионыча» в ответ на предложение печатать свой роман: «Мы в средствах не нуждаемся». Необычайно мудро. Вот именно — нужда не заставит творить, творить — это от Бога.

Поэтому толпа всегда удовлетворенно взирает на финансовую пропасть поэта — не все коту масленица.

Очевидно, что толпа мудрее поэта. Да она и талантливее его, потому что денежный интерес куда увлекательней поэтического. Поэты создают «Телемаха», оперу или мадригал. Толпа работает с вечными жанрами — анекдот, сундук, стиль жизни. Правда, еще существенно — как а я толпа. Но в любом случае толпа и поэт соответствуют друг другу. А разделяет их самомнение одного и благоразумие других.

Любопытно, что деньги — весьма современное изобретение. Кажется, древние умели обходиться без них. Более того, они часто не знали, что с ними делать. При невероятно скромных потребностях, скажем, афинянина времен

Перикла — а все они завтракали оливками, жили в глинобитных стенах и носили простую одежду — крупные капиталы нужны были только для политики. Деньги раздавали народу или богам. Просто так, чтоб любили и помнили.

Античной толпе противостоял не столько поэт, сколько философ. А философом бы тот, кто презирал деньги, не говоря уже о труде. То есть доводил до крайности рядовую умеренность. Часто и справедливо толпа находила в этом разврат.

Нам совершенно чужды бесчисленные оттенки праздности, в которых так хорошо разбирались в античности. Афиняне презирали героя Пелопонесской войны «кожевника» Клеона потому, что он был владельцем мастерской по выделке кож. И поделом — «свобода — сестра праздности», — говорил Сократ, бросивший ремесло в ранней юности.

Мы — наследники бюргерской морали, согласно которой бездеятельность обязана быть оправданной — поэзией или пороком. Наш век вылез целиком из какого-нибудь мещанского Ротенбурга, в котором семьсот лет назад родился лозунг «труд — дело чести».

Это не так просто понять — какая еще честь? Труд — это Адамово проклятие, расплата за удавшееся покушение на Древо жизни. Или — компенсация за все удовольствия свободной от труда жизни.

От труда избавиться трудно. Особенно, когда он адекватно оплачивается. В Америке это сделать труднее всего.

Мы здесь пользуемся таким количеством вещей, что их хватило бы в старину на целый город. И за все эти вещи — кондиционеры, посудомойки, универсальные сниматели ботинок и патентованные очистители яблок — мы честно расплачиваемся телом и душой, иногда называя этот акт расточительства — карьерой.

Диогену, чтобы превратиться в философа, достаточно было расстаться с теплым плащом и посудой. Если бы мы решили стать киниками, нам пришлось бы избавляться от вещей при помощи товарного поезда.

Человек, живший в Ротенбурге, тоже был окружен вещами. И за них ему тоже приходилось горько расплачиваться. Но он еще не утратил первобытного удивления перед процессом преобразования доски, скажем, в бочку. Ремесленник себя уважал не меньше нью-йоркского транспортного профсоюза. Работал он дома, на глазах послушных домочадцев. При этом цеховой устав обязывал его сидеть у окна, чтобы прохожим было видно: «Вот это как усердно трудится человек», — скажем, над бочкой. Гильдия предписывала мастеру достойный образ жизни. Если он выходил на улицу без чулок, его штрафовали — на ту же бочку, но уже с пивом.

## 6. Такие дела

В Ротенбурге мы жили в отеле «Тильман Рименшнайдер».

Все знают, как важно рассказать дома, в какой гостинице ты жил. Для этого и продаются глянцевиные открытки с видом отеля, на которых в идиотическом усердии можно отметить крестиком свое окно. Особенно это забавно, если учесть, что американские туристы в любой стране мира предпочитают гостиницы «Хилтон», «Шератон», «Холлидей Инн».

Тильман Рименшнайдер был резчиком по дереву. В ротенбургской Якобскирхе стоит его алтарь «Святой крови», на переднем плане которого не Христос, а Иуда. Скульптор был революционером и самым насущным вопросом считал проблему идеалов и верности им.

Он знал, что делал. Через 21 год Рименшнайдер — бургомистр Вюрцбурга и очень богатый человек — принял участие в крестьянской войне на стороне восставших, был схвачен властями и посажен в тюрьму. Там ему сломали пальцы, чтобы он больше не резал из мягкой липы Иуду и не интересовался соотношением революции и искусства. Как сказал бы Воннегут: такие дела.

Кстати, в Ротенбурге уникальный музей пыточных

инструментов — четыре этажа, наполненных виртуозными и хитроумными изобретениями. Многие из них красивы, и все выполнены с непонятным в этой ситуации изяществом. Зачем «испанскому сапожку» серебряная насечка? Чье эстетическое чувство она должна удовлетворять — палача или жертвы?

В простодушном средневековье, вместо теории и практики сыска, строили универсальную систему наказания, что проще. Вот список преступлений, караемых смертной казнью: убийство, измена, ересь, святотатство, колдовство, грабеж, подлог, подделки, контрабанда, поджог, лжесвидетельство, супружеская измена, изнасилование (если оно не закончилось женитьбой), гомосексуализм, скотоложство, фальсификация мер и весов, подделка пищи, порча имущества ночью, побег из тюрьмы, неудачная попытка самоубийства.

Русское средневековое Уложение прибавляет к этому немалому списку такие уголовные преступления — смотреть на новую Луну, не посещать в пост церковь, играть в шахматы.

Надо полагать, многие наши современники согласились бы со всем перечнем, исключая разве что шахматы.

Между прочим, Иван Грозный, узнав о Варфоломеевской ночи, заклеил Запад как область, населенную варварами.

Насколько относительно понятие жестокости. За 10 лет опричины было убито 3470 человек. Знаменитый своей свирепостью инквизитор Бернард Гус за 17 лет службы приговорил к смерти 45 еретиков. Вышинского бы на его место.

Еще занятный парадокс — чем больше мы ценим свою жизнь, тем меньше ее ценят другие.

## 7. Дачники

Мы выросли в стране, где разница между городом и деревней была такой же огромной, как между Землей и безвоздушным пространством. Космические аналогии напрашиваются именно потому, что само сравнение этих двух понятий казалось смехотворным и абсурдным. Город — средоточие духа, культуры, веселья. Деревня — нечто страшное, пещерное, противоположное цивилизации.

Город живет бюргерским укладом. То есть этикетом общепития, уютным устройством своих потребностей. Соседи, дома, названия площадей и улиц, проходные дворы и магазины, скверы и кладбища, башни и церкви, памятники и амбары. Для каждого они свои, отмеченные первым поцелуем, первой получкой или первым мордобоем.

Стоит только встретиться двум землякам; как они жадно спрашивают: «А вы где жили? На Суворова?». И сразу очерчивается узкий круг — людей, имен, представлений.

Город делится древностью со всеми своими обитателями: цеховые братства, карнавалы, процессии. Пусть у нас они превратились в дворовую компанию, пьянку в подъезде, первомайскую демонстрацию.

Город — это искусственная природа. Зелень, которую он впускает в свои пределы, уже не та, что на приволье. Она теряет агрессивность, укрощенная садовником, фонтаном, оградой. Городской пейзаж состоит из домов и улиц. Он искусствен и насильствен. Но отнюдь не лишен хаоса естественности.

В старых городах всегда кривые и узкие улицы. В этом нет ни случайности, ни умысла. Просто стихийное движение души. Кривая улочка все время меняет ракурс, под которым пешеход воспринимает город как единое, капризно разросшееся существо. Он движется по кривой, и с каждым шагом меняется картина, созданная самыми разнообразными перспективными сокращениями. А время от времени город дарит ему какую-нибудь роскошную площадь или панораму высоченного шпиля.

Поэтому так мало деревьев в старинных городах. Во всех этих Ротенбургах, Сиенах, Утрехтах архитектура мягко, но твердо противопоставляет себя природе. Город против деревни, человек против окружающей среды.

Вообще-то, города и есть цивилизация. Как камень в лапах обезьяны, город (то есть базар, храм, водопровод, университет, театр, бордель и что там еще) был главной ступенью от варварства к культуре.

Поэтому самым большим открытием в Америке для нас было отсутствие на этом континенте городов. Есть Нью-Йорк, Сан-Франциско, наверное, еще два-три. Но это так, дань европейским традициям, эмигрантский тамбур. Настоящая Америка живет на даче.

Мы-то знаем толк в дачной жизни. Прославленное сочетание дюн, сосен и холодного моря — Рижское взморье — присутствует во всех наших скитаниях. Говорят, что утонченный Томас Манн мечтал здесь жить. Мы тоже.

Но дача — всего лишь компромисс между городом и деревней. И как любой компромисс, она временна, сезонна. Этакий роскошный довесок к городу.

Кто бы мог подумать, что есть гигантская страна, которая живет в таком подвешенном состоянии всегда. И никого — поистине никого — это не удивляет.

Чтобы изобразить Америку, нужен или атлас шоссеных дорог, или нарядная, лучше рельефная, физическая карта. Все остальное смысла не имеет. Никогда и никто не сможет отличить Энгелвуд в штате Нью-Джерси от Энгелвуда в Коннектикуте. Да и нет никакого Энгелвуда. Все это географическая фикция. Выдумка почтового ведомства. Есть только дачи — от барака до дворца. И дача эта воплощает идеал, осуществление права на недвижимую собственность.

Своя земля. Как это понимать? Что значит — владеть черноземом, глиной, холмом или даже озером? Вот город — ничей. Кому принадлежит площадь, булыжная мостовая, ратуша? Иногда кажется дичью разделить много миллионов акров (акр — это как фуллонг или гиней, вещь, которая ничему не кратна) между многими миллионами людей. С летающей тарелки это должно было бы выглядеть как образцовая птицеферма. А ведь как бы все удивились, если бы Париж разрезали на тысячи участков. И залезть на чужой тротуар было бы так же стыдно, как в не свою спальню.

Но американцев совершенно устраивает их прикрепленная к месту жизнь. Они любят свою кленом и ловят рыбу в своих двух ярдах ручья.

Американская country life, конечно, не возврат к варварству деревни, а, наоборот, следующая ступень, послегородская. Ведь города поначалу строились для людей бедных, среднего класса, третьего сословия. Богатые жили в просторных поместьях, бедные — в тесных кварталах. Но вот в невыразимо богатой Америке сбылась историческая мечта — все могут вернуться к аристократической жизни на лоне природы. Никто не убивал американскую городскую культуру (если она когда-нибудь существовала). Разве что деньги и автомобиль. Но это любовное соглашение с обеих сторон.

Америка — это не прошлое, а будущее. Общество богатых, которым не нужен город, потому что есть «хайвей» вместо улицы, «супермаркет» вместо базара, личный газон вместо общественного сквера. Видимо, так будут жить наши потомки, освобожденные от исторических иллюзий.

И литература в Америке негородская. Как в России, здешних писателей можно разделить на «почвенников-деревенщиков» — Марк Твен, Фолкнер, Колдуэлл — и «западников» («восточников?»). Первые черпают вдохновение близ сохи. Вторые — в заграничной экзотике. В Европе, как Хемингуэй, в Тихом океане, как Мелвилл, или на Севере, как Джек Лондон.

Русская литература создана людьми, у которых были дачи. И строилась она на противоречии столичной и поместной жизни. Своя земля — с охотой, косьбой и утренними зорями — играла в нашей литературе очищающую роль.

Это сходство, основанное на владении недвижимостью, позволяет американским писателям так влюбляться в русскую словесность, что европейские литературы кажутся им периферийными отростками изящного. Ведь во Франции или Германии литература всегда паслась на городских

площадях, отводя буколическим овечкам роль ученого сравнения. Горожанин всегда предпочитал наслаждаться природой, не выходя за городскую черту.

## 8. О бесполезности сомнений

Писать по-русски совсем не то, что писать по-западному. Хороший, классический, естественно, серьезный европейский писатель — это кто-то вроде Томаса Манна. Человек, обложенный книгами на четырех языках, привыкший сочинять должное количество страниц в легкие утренние часы. Он знает, что пишет, и пишет, что знает. Совершенно невозможно представить его себе за работой без домашней куртки-венгерки, из-под которой выглядывает белоснежное белье. Не майка, а крахмальная рубаха, естественно.

А на другом полюсе наш Веничка Ерофеев, у которого нет, не было и не может быть письменного стола. Один — профессионал, другой — птичка Божья. Разве можно Веничке сказать — «работай»? И разве можно вообще употребить это нелепое слово — «работа» — к понимаемому по-русски вдохновению?

Оттого-то наша литература так богата неуравновешенными героями, что ее часто сочиняли в истерических условиях. А те немногие трезвые люди, которые выбивались из рядов отечественной словесности, — например, Чехов, — заслужили презрение современников за бесстрастность, равнодушие и отсутствие Божьей искры.

И это сказывается! Иногда русские великаны кажутся чрезмерными. Как будто обстоятельства вынуждают вас жить в Грановитой палате.

Для таких случаев нет ничего лучше плохих книжек. Каждый опытный читатель располагает набором чтива, которое легко отличить от нарядных собраний сочинений по замусоленным корешкам или следам супа на страницах. Это могут быть «Копи царя Соломона», или томик О. Генри, или что-то еще, уж совсем никому неизвестное и никем, кроме хозяина-первооткрывателя, не ценимое.

Посредственные книги от великих отличает чувство превосходства читателя над автором.

Гиганты — Достоевский, Фолкнер, Кафка — подавляют. Они несопоставимы с нами, как несоизмеримы килограмм и километр. Вы попадаете в мир, куда в общем-то и не званы. Титаны прекрасно обходятся без вас — они ни в ком не нуждаются. Уж во всяком случае, не в читателе.

Еще есть писатели, которые вызывают чувство соревнования. Скажем, Чапек или Олеша. Без всяких на то оснований они порождают иллюзию доступности. И вы занимаете на их страницах место, как гость формально званный, хотя и не уверенный в такой уж необходимости своего появления.

Но плохие писатели прямо светятся радостью, когда их читаешь. Они не маскируют свои намеренья рассуждениями о природе искусства. Они откровенны в своем ремесленничестве, в котором, правда, знают толк. И вы, с гордой усмешкой подмечая кучу курьезов в их сочинениях, неторопливо устраиваетесь на удобной оттоманке. Тут уж вы в гостях у людей радушных, но простоватых, которые будут очастливлены вашим аппетитом и обязательно оставят ночевать, уступив хозяйскую спальню.

В таких книгах главное не сюжет — его вы знаете наизусть. Главное — прямотуше автора. Его незаурядная способность изображать жизнь в правдоподобных формах. При этом правдоподобие, конечно, таково, как его понимает наивный автор.

Тут — обаяние примитивной живописи: безыскусность, преувеличенная выразительность, незатейливая связь цели и средства. Если художник задумал изобразить кошку, то она и будет главной на картине, превосходя ростом и собакам, и людям, и деревьям. Конечно, примитивы не могут заменить Лувр, но они способны разбавить восторги от высокой классики. Как вода после шампанского.

Хороший плохой писатель хватается быка за рога с первой же строчки. Он не станет размусоливать полутона и оттенки. Его эмоции честны и прямы, как в мультфильме или «вестерне».



Вот, например, как начинается один из величайших посредственных писателей Артур Конан-Дойль: «Наша скромная сцена на Бейкер-стрит знавала много драматических эпизодов, но я не припомню ничего более неожиданного и ошеломляющего, чем первое появление на ней Торникрота Хакстейбла. Не успела дверь закрыться за ним, как он медленно осел на пол и, потеряв сознание, растянулся во весь свой могучий рост на медвежьей шкуре у нас перед камином. «Что с ним, Уотсон?» — спросил Холмс. «Полный упадок сил. Вероятно, от голода и усталости», — ответил я. Минутой позже он с трудом поднялся на ноги. «Простите меня, мистер Холмс. Это обморок — следствие нервного потрясения. Стакан молока с сухариком — и все пройдет».

Прекрасно здесь не только то, что от голода и потрясения падает в обморок человек, пропустивший завтрак, но и то, что молоко с сухариком живо поставят его на ноги. В мире, созданном Конан-Дойлем, всех опасностей можно избежать при помощи молока с сухариком или живительного глотка бренди. Но если и случается что-то поистине трагическое, то и здесь читателю не придется искать валидол.

Вот Холмс с Уотсоном охвачены благородным порывом: «Мы можем ее спасти от худшей участи, которая только может выпасть на долю женщины». Викторианский читатель в недоумении: какой же участи? «Наша клиентка прислонилась к дереву, видимо, теряя сознание; рот у нее был завязан платком. Перед ней стоял свирепого вида молодой человек с бульдожьим лицом. Между ними находился пожилой человек с седой бородой. По-видимому, он только что совершил обряд бракосочетания. «Они обвенчаны!» — мог только выговорить я».

Люди в таких книгах выглядят приложением к вещам. Писатель особенно и не усердствует в описании их психологии. За что часто бываешь ему благодарен. «Я чуть не ошибся: решил было, что вы машинистка. Но, конечно, вы занимаетесь музыкой. Уотсон, обратите внимание на сплюснутые кончики пальцев. Характерно и для машинистки, и для пианистки. Но в вашем лице есть одухотворенность». Есть одухотворенность — и точка. Нечего разводять бодягу. «Трубки бывают очень интересны», — сказал Холмс. — Ничто другое не заключает в себе столько индивидуального, кроме, может быть, часов да шнурков на ботинках».

Вполне естественно, что сыщика Шерлока Холмса шнурки и трубки интересуют больше людей (в которых, в свою очередь, Холмс занимает только подушечки пальцев).

Человеку вещи вообще ближе людей. Во всяком случае, так было до тех пор, пока мы не стали ждать гадостей от предметов, раньше вызывавших восторг и гордое удивление. Автомобили, самолеты, какие-нибудь фабрики — совершенно не радуют современного человека, потерявшего буколический интерес к технике. (Восторженный мечтатель 20-х годов предсказывал, что он еще увидит Россию, уставленную заводскими трубами.)

Техника XIX века была прирученной. Ее можно было вполне внятно объяснить читателю и вместе с ним порадоваться достижениям человеческой мысли. Как это делал неповторимый Жюль Верн: «Чтобы получить пироксилин, достаточно погрузить на четверть часа клечатку в дымящуюся азотную кислоту, затем промыть ее в воде и просушить. Как видит читатель, нет ничего проще».

Человек прошлого века любил свою технику, как любили цветы или руины люди более сентиментальных эпох. Паровоз вызывал в нем гордость, электричество делало счастливым, телеграф вдохновлял на подвиги. Этот культ просуществовал совсем недолго, но он отразился в нас ностальгическими воспоминаниями. Другие века испытывали ностальгию по веским поводам — республиканская простота Рима, монархическая пышность Франции, патриархальное добродушие аксаковской России. Мы же тешим себя бронзовыми лампами из «Сестры Керри», радиоприемником времен великой депрессии, вагонами подземки, в которых ездили поклонники Линдберга и Чкалова.

Но все равно мы уже потеряли ту влюбленность в

прогресс, которой переполнены сочинения посредственных писателей. Например, буквально в каждом рассказе Конан-Дойля присутствует железная дорога. Он никогда не забудет отметить, что Шерлок Холмс отправился в Корнуолл восьмичасовым с Чаринг-Кросса.

Карманный хронометр, подозрительная труба, велосипед, воздушный шар, паровая шхуна — все повествование в такой литературе держится на пружине, шестерне, хитроумном ремennem приводе. И как искренне и чисто любят они эту механическую жизнь, которая выглядит в их книжках куда симпатичнее настоящей.

Мир вещей им ближе уже потому, что он незатейлив, лишен предрассудков, взаимного непонимания, не требует деликатности и тонкого обхождения. Впрочем, именно отсутствие всей этой белиберды придает обаяние наивности произведениям среднего писателя.

«— Сначала, Самуэль, мы думали, что тебя осаждают негры, — прибавил Кеннеди.

— К счастью, это были только обезьяны, — ответил Фергюссон.

— Издали разница не велика.

— Да и вблизи не так уж велика».

Стоит заметить, что последняя реплика принадлежит Фергюссону, бесстрашному путешественнику на воздушном шаре, истинному герою науки — и Жюль Верна.

Великий писатель всегда бунтует. Против Бога, приличий, начальства. Средний писатель живет в мире с соседями. И как благодарны мы ему за чувство социального комфорта, разлитое в его добродушном творчестве.

Уж очень непросто погрузиться в теплое море благорасположенности к окружающему, раствориться в правильной, не внушающей сомнений общественной среде, влиться, наконец, в бодрую созидательную жизнь, не задаваясь вопросами, что эта бодрая жизнь созидает.

Но если вспомнить себя без сомнений. Если вспомнить спокойную, хорошую уверенность, что так надо...

... Вот он, неспешный и грандиозный образ Родины Вне Сомнений. На нем голубая спецовка, во лбу горит рубиновая звезда, и в профиль он похож на майора Проница. За ним — сероглазый красавец с недлинной каштановой прической — горделиво ступают братские народы. Тут и латыши в рыбацких сапогах протягивают Дары Моря, и узбек с рыжими дынями, и усатый хохол, опирающийся на сноп Щедрого Урожая, и северный инородец, ведущий за собой послушного оленя. А там, в голубой перспективной дымке, нестят тюбетейки, папахи, кепки. И все они несут в общенародную копилку предметы своего героического труда — золото. Черное, белое, пушное и, конечно, золото своих сердец.

Куда же идет эта красочная процессия? В балет. Где царица Уланова повелевает лебедями. И ей восхищенно хлопают Друзья Детства: безногий Мересев, бородастый Хоттабыч, Витя-Малеев-В-Школе-И-Дома. Даже Матросов, обнимая пулемет, приветствует лебедей, принадлежащих народу.

И над всем этим парит Хрущев, простой и доступный, как Ленин, который, кстати, тоже здесь, но в облике белокурого ангела.

А за дверями остались они — шпионы и двурушники. Мистер Смит, который хотел поссорить нас с пришельцами-коммунарами из далекой, но близкой Туманности Андромеды. Продавшийся инженер Гарин. Изменник Горелов, скрывший от народа Тайну Двух Океанов. И еще невинно пострадавшая, но все-таки не наша Голова Профессора Доуэля. Всех их стережет квадрига лошадей Большого театра.

А где-то среди Настоящих Людей С Чистыми Руками сидишь и ты. В лыжных байковых штанах, и за руку тебя держит добрый, но лукавый дедушка в синих очках со стальной оправой, и ты точно знаешь, что домой вернешься стальным, но довольным...

Вот что мы потеряли. Самое сильное чувство в жизни — чувство причастности к правому делу.

(Окончание следует)

# ВЛАДИМИР ТЕПЛЯКОВ

## ВЫХОДНОЙ НА ВЗМОРЬЕ

Вот-вот отправленье . . . Дородная квочка  
Путь торит, топча население перрона.  
За ней по фарватеру следует дочка  
(Фигурой — в мамашу) с поющим Кобзоном  
На сумке поношенной из целлофана.  
За ними — снискавший дежурную взбучку  
Муж квочки и дочкин любитель дивана  
С поклажей; и бабка, и внучка, и Жучка . . .

На отдых! Отъезд предвкушеньями скрашен.  
Торопятся лысины, гривы, косички . . .  
И как дирижабли вplyвают мамыши,  
Ступеньки осилив, в вагон электрички.  
Там тишь и прохлада, и пахнет озоном,  
В проходах стоящие — любвеобильны.  
И долго еще ветерок по салонам  
Гуляет от хлопанья ангельских крыльев.

Вот станция нужная . . . Гаснут улыбки.  
Предстартовой дрожью объаты фигуры.  
Мгновенье — и сотни попутчиков липких  
Срываются вниз и хорошим аллюром  
Несутся с надеждой туда, где (скорее!),  
Туда, где, еще не разорванный в клочья,  
Быть может, успеет за двадцать копеек  
Счастливец вручить продавец худосочный  
Источник капризов и пятен на ризах,  
Источник спасительной метаморфозы . . .  
Слезинки повысушив, ветер-подлиза  
Приятно бодрит и уносит угрозы.  
Растет поминутно число легионов.  
Вспотела пехота, и конница в мыле.  
Все дружно, смыкая ряды и колонны,  
Готовятся к штурму курортных бастилий.

Пробило двенадцать. Передним отрядом  
Захвачен ларек с анонимной водицей  
И смуглой волчицей. Пот катится градом.  
Измученных жаждой длинна вереница.  
Глодают и давятся жижей несладкой;  
Бросаются дружно к иному гнездовью  
И бьют автоматы открытой перчаткой,  
Чтоб те истекли газированной кровью . . .

На пляже пустынно. Не слышно скандалов.  
Не мчат, сломя голову, парочки в воду.  
И вот, как знамена, трещат покрывала.  
Тела, наконец, обретают свободу,  
Недолгую, впрочем . . . В разгар омовенья  
Спускается гром с поднебесного склона.  
И голая стая, схватив оперенье,  
Спешит в альма-матер котлет и бульонов.

Зачавкали дружно и люди и мухи.  
На кухне, всю обнажая колени,  
Лениво парят над котлами стряпухи . . .  
Минуты ползут. Удлиняются тени.  
Под занавес дня выходного за тучу  
Светило сбежит, чтоб не видеть перронов,  
Где, отдых венчая аккордом могучим,  
Нагретые орды штурмуют вагоны.

1987

## ПОНЕДЕЛЬНИК

Свет ламп усыпляюще скуден.  
Автобус ползет наугад.  
Тяжелые, мрачные люди  
В затылок друг другу сопят.

Попавшие в желтый, венгерский  
Ценою обиженных ног,  
Они полусонны и дерзки,  
Они — пассажиры потока.

Они приезжают на место,  
И капает пот трудовой:  
Один производит аресты,  
Цемент производит другой.

А третьему выпить охота . . .  
День чахнет, рыдая навзрыд.  
Обратно в бетонные соты  
Их чудо венгерское мчит.

Там ждут их Степаша и Хрюша;  
Из кур худощавых бульон;  
Проделки Дукакиса с Бушем;  
Входящий на цыпочках сон . . .

Закончены битвы, молитвы.  
Пора — на излюбленный бок,  
Чтоб утром хомут алгоритма  
Напаять в положенный срок.

октябрь '88

**AVOTS**

# ТАТЬЯНА МОСКВИНА

Несклад, нелад, нелепость, небылица.  
Мильоны прячет нищая сума,  
По-прежнему рядятся две столицы:  
Одна мертва, другая без ума.

Незавершенность в каждом очертанье  
В насмешку, кое-как — слепить и сдать.  
История — вся в дырах. А сознание —  
В пустотах. Не додумать. Не связать . . .

Куда все шло и чьей вершилось силой,  
И кто и почему не виноват.  
Так думай, мозг! до боли, до могилы.  
Верни лицу покой и речи — склад.

\* \* \*

Не вместе и не врозь. Ни павы, ни вороны.  
Ни тут, ни там, а мы уж так и сяк:  
В мадонну и в содом, тайком и по закону  
И в мать церковь и в отец кабак.

Ни то ни се. Не умерли, не живы.  
Ни денег нет, ни славы, ни любви.  
Вперед-назад. Приливы и отливы.  
Не скучно и не грустно, черт возьми!

Никто не виноват, а все в ответе.  
Миганье век, оледененье рук.  
Плывут гробы по матушке по Лете.  
Ты любишь плавать, мой последний друг?

. . . Люблю и я.

## ЛИГОВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Он, ноги отрубив у батушки-проспекта,  
Спешит, преступник, далее. Вперед.  
Он мыслился, наверно, по проекту,  
Устроился как боже приведет.

Притон, приют — когда-то, склад для трупов,  
Накормленный демьяновой ухой,  
Столицы, притерпелся к опергруппам  
И был сообщник дельный, неплохой.

Такая дрянь. Но ход назад — завален.  
Стараньями годов почти что миф,  
Почти пристоеен и почти централен,  
Почти морален и почти красив.

## НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Он прост и прям, но слишком знаменит.  
В его свеженакрашенной личине  
Все ищут смысл, а он давно открыт,  
Все ищут тайн, которых нет в помине.

Он стародавний, тот же, да не тот.  
Чуть-чуть родимых пятен петербуржства.  
Космополит, но столь же патриот.  
Торгаш, но не чурается искусства.

Знавал он времена и волка и собаки,  
И по нему уже который год  
Седой умалишенный в черном фраке  
Уверенно и медленно идет.

\* \* \*

Отечества общественный любовник  
среди разграбленных полей  
комиссионный льет елей  
в забытый богом муравейник.  
Но тот, кто гол среди волков,  
имеет право улыбнуться  
сквозь белый гной снегов и слов  
до черной немочи основ  
ему возможно дотянуться.  
Плоть жизни вся истрачена. И сон  
пришел на землю как второй закон.

\* \* \*

Пишу — и стол болит.  
Меня слова трясут:  
Свобода совесть стыд  
Ложь справедливость суд.

Стоит в квартире стон.  
Вот так я жить люблю.  
Терпи, мой бедный стол,  
Терпи, как я терплю.

ДОРА ЦЕРВИДЗОН, ЛЕВ БРАЙМАН

АНДРЕЮ ДОЗОРЦЕВУ РОМАНУ ЛЕЙБОВУ

# «МАЗУРКА» ШОПЕНА

— Какой ужас! — сказала проститутка. —  
Бедное животное, я не могу этого видеть...

Борис Виан.

«Шфью-шфью-шфью», — делала сапогами Жена. Совершенно отвратительно. Какого труда стоило выпросить эти светло-сиреневые лавсановые валенки у алчного интуриста! С какой брезгливостью глупая Жена погружала в прекрасные валенки свои запущенные ноги!.. Захлебнувшись воспоминаниями, Муж почти перестал чувствовать сильный озноб. Голые пальцы его ног мелко подрагивали на синеватом снегу... Ужасное, раздражающее шфьюканье! Только железная воля, только терпение, нечеловеческое терпение заставляли Мужа молчать. Он шел к своей цели, он знал, что осталось недолго...

Стемнело, и они миновали заставу. Вдали, под горой, неоновыми огнями горело Третье Городское Кладбище. Дорога пошла под откос...

— А где похоронена твоя Первая Жена? — спросила Жена.

— Рядом с тобой. Времена были тяжелые, и я не смог похоронить ее на Втором Городском. А теперь там воздвигли Парк Культуры.

— Но здесь, я надеюсь, не устроят ничего такого?

— Не-ет. Не раньше чем через двенадцать лет. Не бойся, малыш, все будет тип-топ.

Они шли по убеленной могильной аллее мимо нумерованных памятников — длинных, в человеческий рост, неправильных цилиндров, стоящих с наклоном, будто причесанных. Каждый цилиндр был увенчан закругленным утолщением, а у подножия лежали два шара. На тяжелых шарах нервно сверкали свечи, кидая отблески на розовый мрамор. Под властью ветра, свечей и теней мрамор пульсировал...

Из боковой аллеи бесшумно вынырнули голые люди — мужчина и женщина. Они приблизились, держась за руки, и мужчина спросил:

— Дру биригсю, алён попа?

Знавший немного по-местному, Муж протянул сигареты.

— У них только «Прима», — сказал мужчина своей спутнице.

— Ничего, годится, — просипела женщина. Мужчина взял две сигареты и поблагодарил:

— Горшпох!

— На здоровье, — сказал Муж. — Спички есть?

— Да мы тут прикурим, — улыбнулся мужчина. Он и его подруга подошли к ближайшему памятнику. Женщина опустилась на колени и, опершись руками о землю,

стала прикуривать от свечи. Мужчина пристроился сзади...

Жена глядела на их суетливые движения, раскрыв рот. Такого она никогда не видела. Тем временем женщина прикурила и обернулась к мужчине. Тот вздрогнул или кивнул. Затем они поднялись, отряхнули колени и, махнув на прощание, скрылись так же бесшумно, как и появились.

Муж и Жена не сразу пришли на нужное место. Прежде они ненарочно свернули с аллеи и вышли к задворкам. Именно там был схоронен известный когда-то Писатель. Пришлось купить букетик какой-то мерзости у мрачной безносой старухи (вдовы Писателя) и возложить к подножию писательского памятника — согнутого вдвое неправильного закругленного цилиндра...

Постояв с минуту для приличия, Муж и Жена спросили дорогу. Старуха извлекла из кармана засаленный План, и Муж, хорошо читавший карты еще с армейских времен, быстро определил маршрут.

Взошла луна, и они вышли на место.

— Ну вот ты и дома, — сказал Муж, потирая замерзшие лодыжки. — Гляди, вот могила моей Первой Жены. Не слишком шикарно, но вполне прилично. Конечно, тебе я устрою кое-что получше.

Жена с грустью глядела по сторонам.

В это время, пробравшись между памятниками, к ним подошел обаятельный Скорбец. Это был самый обыкновенный Скорбец средних лет, в черной шляпе и форменном розовом костюме. Черты его лица напоминали о покойном киноактере Матвее Беспросветном. Скорбец вежливо предложил подписать бумаги.

— Разве и я должна подписывать? — удивилась Жена.

— Конечно, малыш, — Муж взял ее под локоть. — Без твоей визы свидетельство недействительно. — Он помог Жене подписаться в пяти местах.

— Все, больше формальностей не будет, — заверил обаятельный Скорбец. — Всего доброго, — он вручил свидетельство Мужу.

— Что у вас сегодня с музыкой? — спросил Муж.

— Да, да, я помню, сейчас пойду посмотрю, — ответил Скорбец и, еще раз кивнув Жене, скрылся.

Тем временем Муж подобрал ближайшую лопату и, скинув длинное пальто, принялся за работу. Земля подавалась плохо.

— Принеси пару веночков, — попросил Муж.

Разложили костер и присели, вытянув озябшие руки к зеленоватому пламени.

— Ты меня больше не любишь? — робко спросила Жена.

Муж молчал, устало глядя на огонь.

— У тебя есть другая женщина, да? — снова спросила Жена.

— Ну вот, опять все сначала... Мы же договорились.

— Почему ты все-таки меня хоронишь? Я хочу понять! — Жена была готова заплакать.

— Я так больше не могу...

— Если бы ты был порядочным человеком — похоронил бы себя.

— Ты же знаешь, у меня больные почки, — Муж едва сдерживался.

— Нет, ты меня больше не любишь. И никогда не любил...

Муж не стал отвечать, как делал всякий раз в таких случаях. Больше всего он не любил семейных ссор.

В мерцании догорающих углей появился Скорбец.

— Извините, — сказал он сконфуженно. — Вы заказывали Шопена, но «Траурные марши» все кончились. Остались «Мазурки» и «Вальсы-фантазии».

— Полагаюсь на ваш вкус, — ответил Муж, закрыв глаза и разгребая угли ногами. Живительное тепло отвлекло его от насущных проблем...

Жена подошла к Скорбцу и что-то шепнула.

— Я вас проведу, пойдете, — кивнул обаятельный Скорбец.

— Я сейчас, — сказала Жена разомлевшему Мужу. Потом покопалась в сумочке, извлекла салфетку и побрела за Скорбцом.

Когда она вернулась, Муж завершал работы. Его голова то ныряла под землю, то вновь возникала над бруствером, на секунду опережая кучку мерзлой земли. Это зрелище умилило Жену.

— Все в порядке? — спросил Муж.

— Да, конечно. Ты скоро?

— Все уже, — Муж выбросил лопату, попрыгал, утробовывая, и выбрался наружу.

— Я переоденусь, — сказала жена и сама легко спрыгнула в могилу. Через некоторое время она высунула руку и положила на край аккуратно сложенную шубу. Рядом встали замечательные лавсановые валенки, которые Муж тут же натянул на свои посиневшие ноги.

— Подай, пожалуйста, халатик, — попросила Жена. Муж достал из-за пазухи сверток и сунул в протянутую руку.

Заиграла «Мазурка». Муж заботливо помог Жене выбраться наверх.

— Маме что передать? — спросил он.

— Придумай что-нибудь. Главное — не забывай гулять с собакой. Жене своей будущей скажи, что ты ешь пюре, заправленное майонезом.

Муж погладил ее по голове:

— Не беспокойся, малыш, все будет хорошо.

Жена улыбнулась.

— Спасибо, милый.

Они постояли, глядя друг на друга.

— Ладно, пора, — сказал Жена. — Уже поздно, а тебе еще возвращаться.

Она спрыгнула вниз и легла на спину.

Первый ком земли Муж бросил рукой. Жена зажмурилась, чтобы не попало в глаза, полные слез. Муж поднял лопату и, не глядя под ноги, принялся за работу. Физический труд на природе нравился ему...

Когда он заканчивал, яркий свет фар скользнул по мрамору и осветил аллею. Подходил тягач, тащивший на куске жести тяжелый розовый цилиндр, увенчанный закругленным утолщением, и два громадных шара.

Муж примял лопатой землю, поднял шубу, помахал рукой, указывая тягачу место, и пошел по аллее, наступая на пятки собственной тени и стараясь не шфьюкать светлосиреневыми лавсановыми валенками...

(февраль 1986)

МТ.

11.

ДМИТРИЙ ВОЛЧЕК

# ЗАГАДОЧНЫЙ ГОСПОДИН АГЕЕВ

На самой «почетной» полке моей домашней библиотеки рядом с «Козлиной песнью» Вагинова и «Крыльями» Кузмина стоит и белый томик «Романа с кокаином». Увы, не ставшее библиографической редкостью первое парижское издание, а современный репринт. Впрочем, история появления это репринта заслуживает особого внимания, ибо она неотделима от необычной судьбы самого романа.

Как утверждает легенда, в начале 1930-х годов в редакцию парижского журнала «Числа», объединившего молодых писателей-эмигрантов так называемого «незамеченного поколения», пришел из Константинополя увесистый пакет с рукописью, озаглавленной «Повесть с кокаином». Имя автора — М. Агеев — по всей видимости, никому из сотрудников редакции ничего не говорило. Повесть была принята к публикации. Отрывки из книги были опубликованы сначала в еженедельнике «Иллюстрированная жизнь» (№№ 1—17, 1934), а затем в последнем, 10-м выпуске «Чисел» (к несчастью, журнал прекратил свое существование из-за финансовых трудностей). Не позднее осени 1936 года роман вышел отдельной книгой в Издательстве Молодых Писателей в Париже.

Критика встретила роман в целом приветливо. Правда, желчный В. Ходасевич с неудовольствием отметил языковые погрешности и плохое построение романа.<sup>1</sup> Маститый Д. С. Мережковский был в своей рецензии куда благосклоннее: «Укажу только на одного совсем нового романиста в «Числах» — Агеева. Не первая ли это его вещь? Когда он успел «выписаться», если выписываться надо? У него прекрасный, образный язык. Не уступает, с одной стороны, Бунину, с другой — Сирину. Соединяет (в языке, в изобразительности) плотную, по старым образцам вытканную материю бунинского стиля с новейшей блестящей тканью Сирина. Это — внешность. А дальше — надо забыть и Бунина с его плотностью, и Сирина с пустым блеском искусственного шелка, а вспомнить... пожалуй, Достоевского, — только Достоевского тридцатых годов нашего века».<sup>2</sup>

С интересом отнеслась к роману и публика, по крайней мере издатель В. Яновский рассчитывал и на коммерческий успех.<sup>3</sup> Впрочем (думаю, нет смысла гадать — отчего), в 30-х годах масштабного успеха книга не имела (несмотря на весьма необычный, завораживающий сюжет) и вскоре была забыта.

Казалось, роман обречен на вечное забвение. Однако прихотливая судьба уготовила ему иную участь. Через без малого полвека стараниями западных славистов (в этом ряду прежде всего называют имя Лидии Швейцер, случайно отыскавшей в букинистических развалах книгу Агеева) «Роман с кокаином» был вновь воскрешен к жизни — и к жизни незаурядной. Необычайный успех сопутст-

вовал появлению сперва французского, а затем английского и итальянского переводов романа. Вскоре книга стала международным бестселлером. Мне доводилось беседовать с беспечными американскими студентами, которые на тривиальный вопрос: «Что вам нравится из современной русской литературы?» — говорили не о Булгакове или Солженицыне, а, не задумываясь, радостно восклицали: «Oh! «Novel with Cocaine!». На гребне этого восторга появилось русское переиздание 1983 г., один из экземпляров которого и занял место на моей «почетной» полке.

Теперь, с обычным запозданием, «Роман с кокаином» смогут прочесть и читатели в СССР.

Говоря о судьбе романа, мы между тем ни слова не сказали о его авторе. Кто же таков М. Агеев? Как сложилась его судьба?

Это, как ни странно, самый нелегкий вопрос, над которым уже не первый год бьются западные литературоведы. М. Агеев (если он вообще существовал) бесследно исчез с литературного горизонта. Его имя появляется в печати только лишь один раз — в журнале «Встречи», где в том же 1934 г. был опубликован виртуозный рассказ «Паршивый народ».<sup>4</sup>

Существует несколько версий того, кем был Агеев. Писательница Лидия Червинская утверждает, что под этим псевдонимом выступил в печати некий Марко Леви, умерший в Константинополе в 1936 г. Эта версия находит косвенное подтверждение в воспоминаниях В. Яновского: «Был такой писатель Агеев, проживавший в Константинополе по южноамериканскому паспорту; он присылал свои рукописи в Париж, и все старались талантливому прозаику помочь».

Когда Агееву понадобилось возобновить просроченный паспорт, он прислал его в Париж. Почему он не сделал это в Турции, лично, могу только догадываться. И Оцуп (поэт, один из редакторов «Чисел». — Д. В.) передал Червинской документы Агеева... Но, увы, паспорта она не продлила, а когда месяцев через шесть Агеев попросил ему вернуть вид, хотя бы просроченный, то обнаружилось, что Лидочка бумагу потеряла».<sup>5</sup>

Это не вполне достоверное свидетельство — чуть ли не единственное, которое сохранили современники Агеева. Даже историограф «незамеченного поколения» В. Варшавский, говоря в своей известной книге о трагической участи многих молодых литераторов, растерянно замечает: «Пропал без вести Агеев».<sup>6</sup>

Это вполне фантастическое существование писателя, на долю единственной книги которого выпал как-никак незаурядный успех, естественно подводит читателя к несложной мысли: не был ли таинственный «Агеев» лишь маской, за которой укрылся некий куда более известный читающей публике литератор? Это тем более резонно, если учесть

удивительное мастерство прозаика, явно выдающее не новичка в литературе.

Если принять эту версию за рабочую гипотезу, то сразу же можно сказать, что круг «подозреваемых» чрезвычайно узок. Собственно говоря, на единственный сколь-нибудь достоверный вариант, сам того не ведая, указал Д. С. Мережковский в уже цитированной выше рецензии: изощренный метафорический стиль Агеева более всего напоминает прозу молодого, но уже именитого Владимира Набокова, писавшего в ту пору под псевдонимом Сирип. На эту мысль наводит и то, что в одном из ранних рассказов Набокова — «Случайность» (существенно, что ни в один из своих сборников автор его не включал) детально описаны переживания кокаиниста.<sup>7</sup>

Версию о том, что «Роман с кокаином» создан Набоковым, решившим по ряду соображений (из-за природной склонности к мистификациям, в связи с одиозностью темы и пр.) скрыться под псевдонимом, впервые выдвинул и развил известный литературовед Н. А. Струве<sup>8</sup>. Скрупулезно исследовав ткань набоковских и агеевского текстов, Н. Струве пришел к выводу, что в «Романе с кокаином» содержится столь значительное количество аллюзий, прямых перекличек с прозаическими вещами Набокова разных лет, что никакой случайностью их не объяснишь.<sup>9</sup>

Вот лишь один из примеров. Н. Струве предлагает читателям на выбор два отрывка: один из Агеева, другой — из Набокова. Не уточняя авторства, он приглашает читателей самим разобраться: «где тут Агеев, где тут Набоков»:

«Когда заботливо прощупав в кармане сторублевку, (...) я вышел на улицу, — было часов одиннадцать. Солнца не было, небо было низким и рыхло бледным, но вверх нельзя было смотреть — слезило глаза. Было душно и парило. Мое беспокойство все усиливалось. Оно владело всеми моими чувствами и уже даже болезненно ощущалось в верхней части будто портившегося желудка. По дороге в цветочный магазин, проходя мимо модной и дорогой гостиницы, я зачем-то решил зайти. Толкнув четырехстворчатую карусель двери, в зеркальное стекло которой, дрогнув, поехал соседний дом, я зашел и перешел через вестибюль. Но в кафе было так пустынно, таким беспокойством путешествия пахли эти запахи сигарного дыма, крахмала скатертей, мебели, кожи кресел и кофе, что почувствовал, что не высижу здесь и одной минуты, сделал вид, будто кого-то разыскиваю, снова вышел на улицу».

«Зайдя в писчебумажную лавку, он купил полдюжины открыток и наполнил свое обмелевшее автоматическое перо, после чего направился в гостиницу к Д., решил там прождать до последней возможности и уже прямо оттуда ехать на вокзал. Было около пяти, небо затуманилось — белесое, невеселое. Глуше, чем утром, звучали автомобильные рожки. Проехал открытый фургон, запряженный парой тощих лошадей, и там громоздилась целая обстановка, — кушетка, комод, море в золоченой раме и еще много всякой другой рухляди. Через пятнистый от сырости асфальт прошла женщина в трауре, катя колясочку, в которой сидел синеглазый внимательный младенец, и, докати колясочку до панели, она нажала и вздыбила ее. Пробежал пудель, догоняя черную левретку; та боязливо оглянулась, дрожа и подняв согнутую переднюю лапу. «Что это в самом деле, — подумал он. — Что мне до всего этого? Ведь я же вернусь. Я должен вернуться». Он вошел в холл гостиницы. Оказалось, что Д. еще нет».

Думается, что, сопоставляя эти два отрывка, Н. Струве все же чуть лукавит, утверждая, что уверен, будто они вышли из-под одного пера. Холодное мастерство Набокова, конечно же, отличимо от сбивчивого тона «Агеева». Впрочем, более всего, на мой взгляд, оправдан вопрос, которым задается, анализируя «Роман с кокаином», прозаик Дмитрий Савицкий: «... если М. Агеев существовал, не подражал ли он стилю своего современника — В. Набокова?»<sup>9</sup>

Полагаю также, что нет никаких причин не верить наиболее, пожалуй, авторитетному в этом споре свидетелю —

вдове В. Набокова. В своем письме в редакцию газеты «Русская мысль» Вера Набокова категорически утверждала: «Мой муж, писатель Владимир Набоков, Романа с кокаином не писал, псевдонимом «М. Агеев» никогда не пользовался, в журнале «Числа», нагрубившем ему в одном из своих первых номеров, не печатался, в Москве никогда не был, в жизни своей не касался кокаина (ни каких-либо других наркотиков) и писал, в отличие от Агеева, на великолепном, чистом и правильном, петербургском русском языке».

О слабости русского языка Агеева можно судить не только по слову «шибко» — слову, совершенно недопустимому в серьезном литературном произведении, — но и по таким словам, как «зачихал» в смысле «чихнул» или «использовывать» и тому подобное.

Я нарочно не вхожу в рассмотрение примитивности замысла и грубости его выполнения далеко, впрочем, не бездарным господином Агеевым, но не могу не удивляться тому, что Н. Струве, сорбоннский специалист по русскому языку и литературе, мог спутать вульгарный и часто неправильный слог Агеева со слогом тончайшего стилиста В. Набокова.<sup>10</sup>

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Н. Струве и после письма В. Набоковой не отказался от своей версии (между прочим, указав, что и в «серьезных литературных произведениях» Набокова нередко попадает недопустимое слово «шибко»)...

Как бы то ни было, вопрос об авторстве книги остался открытым, хотя полемика уже давно вышла из берегов периодики русского зарубежья и привлекла внимание французских и английских газет («Матэн», «Либерасьон», «Таймс Литерари Сапплмент» и др.). Даже советский журнал «Иностранная литература» с большим запозданием откликнулся на споры вокруг романа, плоско пересказав основной их сюжет (см. № 3, 1989).

Не исключено, что весьма продуктивной может оказаться гипотеза Габриэля Суперфина, предположившего с поправкой на обязательную биографичность романа, что автора можно вычислить «математически», если сравнить списки учеников Креймановской гимназии (по мнению Г. Суперфина, именно в ней учится герой романа Вадим Масленников) со списками студентов юридического факультета Московского университета за соответствующие годы. Пока попытки осуществить эти вычисления результата не дали.

... В статье, напечатанной в газете «Монд», французский критик Николь Занд писала: «Странные попадают личности в литературе. Когда книга прочитана, хочется о них больше узнать: о том, откуда они пришли и как жили. Но часто они появляются в масках из ниоткуда, в чужих одеждах псевдонимов. Открывая нам неизвестные и невероятные миры, вызывая у нас ошеломление, они исчезают, проглоченные историей. Автору «Романа с кокаином» было бы сегодня 80 лет. Он был бы наконец признан...»<sup>11</sup>

Может быть, это и есть самая разумная позиция — оставить за М. Агеевым ту степень анонимности, которую он для себя выбрал? Привкус загадки никогда еще не вредил хорошей литературе, тем более что сам «Роман с кокаином» от запоздавших споров о его авторстве не сможет уже ни выиграть, ни проиграть в глазах его многочисленных читателей.

<sup>1</sup> «Возрождение» (Париж), 9 января 1937 г.

<sup>2</sup> «Меч» (Варшава), 13—14, 1934 г.

<sup>3</sup> В. Яновский. Поля Елисейские. — Нью-Йорк, 1983, с. 26.

<sup>4</sup> «Встречи» (Париж) № 4, 1934 г. Перепечатано в «Русской мысли» (Париж) 2 февраля 1984.

<sup>5</sup> В. Яновский. Поля Елисейские, с. 236.

<sup>6</sup> В. Варшавский. Незамеченное Поколение, — Нью-Йорк, 1956, с. 170.

<sup>7</sup> «Сегодня» (Рига), 22 июня 1924 г.

<sup>8</sup> «Вестник Русского Христианского Движения» (Париж) № 144, 1985, с. 165—179.

<sup>9</sup> «Русская мысль» (Париж), 15 ноября 1985.

<sup>10</sup> «Русская мысль» (Париж), 13 декабря 1985.

<sup>11</sup> Цит. по: Д. Савицкий. «Роман с кокаином» — Набоков? — «Русская мысль» (Париж), 15 ноября 1985 г.

М. АГЕЕВ

# РОМАН С КОКАИНОМ

5.

Боярская палата, стулья, торжественные от непомерно высоких спинок, низкие своды и во всем этом какой-то мрачный гнет. Собирались гости, все очень торжественно разодетые, и рассаживались вокруг стола, крытого красным бархатом, на котором стояло золотое блюдо с необщипаным лебедем. Рядом со мною за столом поместилась Соня и я знал, что мы справляем нашу свадьбу. Хотя сидевшая рядом со мною женщина нисколько не напоминала мне Соню, однако, я знал, что это она. Вдруг, когда все уже расселись, и я все недоумевал как это будут резать и есть необщипанного лебеда, в палату вошла моя мать. Она была в затасканном платье, в туфлях. Седенькая головка ее тряслась, лицо желтое, исхудавшее, только глаза, бессонные, как-то нехорошо бегающие, издали увидела меня и мутные глаза ее стали страшными и радостными, я сделал ей знак, чтобы не подходила, что неудобно мне с нею здесь знаясь, — и она поняла. Жалко улыбаясь, маленькая, ссохшаяся, она бочком села к столу. Между тем блюдо с лебедем убрали и в красных ливреях и белых перчатках лакеи, — одни расставляли приборы, другие разносили блюда с какими-то кушаньями. Когда лакей, обносивший гостей, приблизился к моей матери, он так же поднес и ей, но оглядев ее платье, хотел отойти. Однако, мать уже захватила лопатку с блюда и стала накладывать себе на тарелку. Я замер, — что если остальные гости обратят на нее глаза. Между тем мать все накладывала себе на тарелку, лакей делал недоумевающее, заставлявшее меня все больше страдать лицо, и когда на тарелке матери появилась целая гора — он нахально отнес от нее блюдо, оставив в ее руках лопатку. Мать повернулась, хотела то-ли положить лопатку на блюдо, то-ли взять еще, но увидела, что блюда нет, что его убрали, стала этой лопаткой есть. В ней вдруг все как-то низменно изменилось. Она начала глотать не по силам, быстро, жадно. Глаза ее нехорошо бегали, остренький старушечий подбородок летал вверх и вниз, морщины на лбу стали влажны. Она стала вдруг не такой, как всегда, стала какой-то обжорливой, чуть-чуть противной. Жадно всасывая пищу, она в скверном наслаждении все повторяла — ах, как фкусне, ах, фкусне. И вот я начал испытывать новое чувство к матери. Я вдруг почувствовал, что она живая, что она плоть. Я вдруг почувствовал, что любовь ее ко мне — это только малая толика ее чувств, потому что помимо этой любви у нее, как у каждого человека, есть кишечник, артерии, кровь и половые органы, и что мать любит, не может не любить это свое физическое тело гораздо больше меня. Тут на меня навалилась такая тоска, такое одиночество жизни, что мне захотелось стонать. Между тем, мать, съев все, что было на тарелке, начала беспокойно поерзывать на своем стуле. Хотя никаких слов не было сказано, но все сразу поняли что у нее испортился желудок и ей необходимо выйти. Лакей, улыбаясь, и этой улыбкой показывая, что уважение его к этой жалкой старухе недостаточно сильно, чтобы оставаться серьезным, а собственное достоинство слишком велико, чтобы громко расхохотаться, рукою в белой перчатке приглашал ее пройти в дверь. Мать приподнялась, с трудом опираясь о стол. В это время все уже обратили внимание и начали смеяться. Смеялись все. Сме-

ялись гости, смеялись лакеи, смеялась Соня, и в мучительном презрении к самому себе смеялся и я. Мимо этого стола, мимо этих жестоко смеющихся ртов и глаз, и мимо меня, тоже смеющегося, этим смехом отчуждающего себя от нее, должна была пройти моя мать. И она прошла. Маленькая, горбленная, трясущаяся, она прошла, тоже улыбаясь, но улыбаясь униженно и жалко, как бы прося прощения за слабость ее старческого, уже бес сильного тела. После того как мать ушла, наступило затишье. Все еще улыбались лакеи, смеялась Соня, и в мучительном презрении не отголосок случившегося, а как предчувствие того, что еще произойдет. И вот я слышу, что у двери стоит военная стража с винтовками с наставленными штыками. За стражей в глубине стоит мать. Она хочет пройти, хочет приблизиться ко мне, но ее не пускают. — Мой мальчик, мой Вадя, мой сын, — все повторяет она и хочет пройти. Я смотрю туда, мои глаза встречаются с глазами матери, наши взгляды любовно скрещиваются, друг друга зовут и мать движется ко мне. Но уже стражник с винтовкой делает прыгающее движение, и штык замечательно мягко входит в живот матери. — Мой мальчик, мой Вадя, мой сын, — спокойно говорит она, держится за проткнувший ее штык и улыбается. И в этой улыбке все: и то, что она знает, что это по моему приказу ее не пускали ко мне, и то, что она умирает, и то, что не сердится на меня, что понимает меня, понимает, что такую как она, любить невозможно. Больше я не могу выдержать. Я рванул из последних сил, изнутри что-то неприятно дернулось во мне и я проснулся. Была глухая ночь. Я лежал одетым на диване. На столе под зеленым колпаком горела лампа. Я сел, спустил ноги и мне стало вдруг страшно. Мне стало страшно так, как бывает страшно только взрослым, несчастным людям, когда внезапно, среди ночи, проснувшись человек начинает вдруг сознавать, что вот только сейчас, в эту ночную минуту, когда кругом тишина и нет никого подле него, он проснулся не только от виденного сна, но и ото всей той жизни, которой жил последнее время. — Что творится со мной здесь, в этом ужасном доме? Зачем я здесь живу? Что это за мысли, которыми я бредил в этой комнате? Я сидел на диване, трясаясь от холода этой нетопленной, уже неделями неубиравшейся комнаты, а мои губы шептали слова, на которые не нужно было ответа, потому что одновременно во мне, возникали образы, туманные и страшные, и смотреть на них было так жутко, что одна моя рука все сильнее, все крепче сжимала другую. Так просидел я долго. Потом, вытащив одну руку из другой (она была так сдавлена, что пальцы слиплись), стал надевать ботинки. Это было трудно, носки на мне совсем прогнили, от ног шел ужасный запах, шнурки были разорваны, все в узлах. Чувствуя отвращение к самому себе от своей нечистоплотности и липкости, я встал на ноги, надел еще пальто, фуражку, калоши, поднял воротник, и только когда подошел к столу, чтобы потушить лампу, принужден был присесть от внезапной слабости. Присев, сразу почувствовал доходящую до дурноты сердечную усталость, преодолевая себя протянул руку, потушил лампу, посидел так немного в темноте и когда, наконец встал, то дурнота и слабость уже отпустили, и уже с некоторой легкостью я вышел из комнаты и ощупью спустился в прихожую. Не зажигая огня, я добрался до



выходной двери, осторожно отомкнул и еле удержал, — так ее рвануло. Ледяной ветер мчал сквозь переулок. В пустынной дали близ желтых фонарей видно было, как с окон, с заборов и крыш вьюжило сухим снегом. Задыхаясь от ветра, напрягая спину от холода, я отчаянно зашагал и еще не дошел до конца переулочка, где началась площадь, как уже почувствовал, что шибко замерз. На площади горел костер. Ветер, драг его пламя, как рыжие волосы и розовое серебро. Напротив весь дом светился, а тень от низкого фонарного столба взлетала на высоченную крышу. Около костра, не двигаясь с места, бежал тулуп, то хватая, то выпуская себя из объятий. Я шел быстро, все ускоряя шаги. Под моими калошами, словно под мчащимся поездом, снег лился, как молоко из ведра. На длинной улице, по которой я теперь шел, ветер сник. От лунного света улица была резко разделена на две части, — на чернильно черную и нежно изумрудную, и идя по теневой стороне, мне забавно было смотреть, как тень от моей головы, вылезая из черной границы, катилась посреди мостовой. Самой луны мне не было видно. Но поднимая голову, я видел, как она бежала по окнам верхних этажей, поочередно загораясь в стеклах зелеными вспышками. Так, углубленный в себя, я не обращал внимания на улицы, по которым шел, сворачивал, руководимый инстинктом, с одной на другую, как вдруг заметил, что уже приближаюсь к воротам того дома, в котором жила моя мать. Взявшись за звонко вихляющее кольцо, растворив калитку и на черном снегу разливая зеленый четырехугольник с черным пятном моей тени посередине, — я вошел во двор. Луна была теперь где-то высоко позади. И высокие сплошные ворота черным полем залегли далеко вдоль узкого двора. Только там, где кончалась ограда садика, все было залито стекляннм зеленым светом. В полосе этого света мне стало холодно. Взойдя по ступенькам на крыльцо, я остановился. На тяжелой двери медная ручка ослепительно сверкала. От шлифованной грани стекла узкая полоска света лежала на ступеньках лестницы. Когда, постояв, я дернул за дверную ручку, полоска эта только чуть дрогнула: дверь была заперта. Будить Матвея я счел неудобным и поэтому, сбжав с крыльца, завернул в темный и сырой туннель под домом, выходящий на мусорную площадку, откуда шел в квартиры черный ход. На площадке этой и теперь были разбросаны щепы и березовая кора. Здесь всегда дворник колот дрова, вкусно щелкая топором, складывая их в охапку на помойном ящике, где, связав заранее подложенной веревкой, грузно закидывал на спину и, тяжело шаркая, всходил к кухням. При этом веревка врезалась в плечо, а обмотанные ею пальцы — с одной стороны кроваво вспухали, с другой обезкровливались до белых суставов. Я поднимался теперь по этой темной, пахнущей котами, лестнице, держался за узкие железные перила, и мне вспомнилось время, когда этих мусорных ящиков еще не было. Мне вспомнился день, это было летом, когда со двора вдруг раздался грохот, очень похожий на театральный гром, и как тут же из этих сброшенных в подводы жестяных листов вырезывались мусорные ящики. Потом, уже к вечеру, их пронзительно сколачивали, и мне все казалось, будто на соседнем дворе делают то же, так остро стучало это о ближайший дом. Когда это случилось? И сколько тогда мне было лет? В совершенной темноте поднимаясь теперь все выше по вонючей лестнице и не считая, сколько мною пройдено площадок, я миновал одну из них и завернув и поднимаясь выше, вдруг почувствовал в икрах ту странную, словно нелюбимую дальше, усталость, которая сразу сказала мне, что на только что пройденной площадке находилась дверь нашей квартиры. Спустившись и с некоторым трудом сообразив, с которой стороны находится нужная мне дверь, я подошел и только хотел постучать и уже пригрозил лицо, чтобы встретить нянюку, когда заметил, что дверь то не заперта, а только чуть прикрыта. — Может быть, она на цепочке, — подумал я, но только тронул ручкой, — как дверь легко и без скрипа раскрылась. Передо мной была наша кухня. Хотя и здесь было очень темно,

но то, что это именно наша квартира, я уже узнал по стуку кухонных часов, которые шли по особенному, с заскоком как хромой по лестнице: два раза быстро, точка, и опять — раз-раз.

Все, что происходило дальше в этой ночной, словно покинутой квартире, стало каким-то странным, при чем я отчетливо чувствовал, что странность эта началась или быть может усилилась, как раз с той минуты, как я проник в коридор. Так, остановившись перед дверью моей бывшей комнаты, я не помнил и не знал — запер ли за собою кухонную дверь, даже не мог вспомнить, был ли в замке ключ. Только так же, прокатившись в столовую, я уже не мог сообразить, до какого места шел спокойно и откуда же начал продвигаться, крадучись. Стоя теперь в столовой, стараясь не дышать, я еще помнил, что дверь в мою комнату оказалась запертой, но почему так тревожился, так боялся, что кто-нибудь меня там застанет, — этого сообразить я теперь уже не был в силах.

В столовой было очень тихо. Часы не шли. В смутной тьме я видел только, что на обеденном столе нет скатерти, и что дверь в спальню матери открыта. И из этой-то раскрытой двери шел на меня страх. Я стоял неподвижно, стоял долго, не переставляя ног, и мне уже казалось, что я или во мне что-то медленно шатается. Я уже был в совершенном решении уйти отсюда и вернуться утром, я уже готов был двинуться обратно в коридор (все больше страшась этого испуга, который возбуждал в моей матери эта внезапность моего ночного прихода), — как вдруг из спальни явственно послышался шорох, и тут же точно дернул меня кто другой за шнурок, я отрывисто позвал: мама? мама? — Но шорох не повторился. Мне никто не ответил. Я еще хорошо помню, что как только я позвал — лицо мое зачем-то сложилось в улыбку.

Хотя, собственно, за эту минуту решительно ничего особенного не произошло, но теперь, после того как я подал голос, мне уже показалось совершенно невозможным уйти и вернуться лишь утром. Стараясь ступать как можно тише, я двинулся дальше, потушил блистающую точку на самоваре, обогнув стол, и, придерживаясь за спинки стоявших вокруг него стульев, прокрался в спальню. Гардины были раскрыты. Медленно, крадучись, я добрался до середины комнаты. Однако, теперь перед моими глазами стало так страшно темно, что невольно я обернулся к окну. Лунный свет бил в него, но внутрь несколько не проникал. Даже на подоконник и складки штор не ложился. Спинка кресла, на котором всегда сидела и вышивала мать, четким пнем чернела перед стеклом. Когда я отвернулся от окна, то перед глазами стало еще темнее. Теперь я знал, что стою примерно в двух шагах от постели. Я слышал, как бьется мое сердце и уже как будто чувствовал теплый запах спящего вблизи меня тела. Я все еще стоял, затаив дыхание. Уже несколько раз я раскрывал рот, хотя для того чтобы сказать «мама», раскрывать его было совсем не нужно. Но, наконец, я решился и позвал: мама? мама? Зов мой на этот раз вышел какой-то задыхающийся, тревожный. Никто не ответил. Но как будто звуки, которые я издал, сделали это возможным: я приблизился к кровати и решил осторожно присесть в ногах матери. Садясь и стараясь при этом не производить шума, чтобы не грохнули пружины, я сперва оперся ладонями о постель. И сразу почувствовал под пальцами тот кружевной покров, который оставался на постели только днем. Постель была не раскрыта, пуста. Сразу исчез теплый запах спящего вблизи тела. Но я все-таки присел, повернул голову к шкафу, и вот тут-то, наконец, я увидел мать. Ее голова была высоко, у самой верхушки шкафа, там, где кончалась последняя винетка. Но зачем же она туда взобралась и на чем она стоит. Но в то же мгновение как это возникло в моей голове, я уже ощутил отвратительную слабость испуга в ногах и в мочевом пузыре. Мать не стояла. Она висела — и прямо на меня глядела своей серой мордой удавленной. — А-а, — закричал я и побежал из комнаты, словно меня хватают за пятки, — а-а, дико закричал я, воздушно

пролетая по столовой и в то же время чувствуя, что сижу, что медленно приподымаю со стола мою затекшую голову и с трудом просыпаюсь. За окном уже брезжил поздний зимний рассвет. Я сидел за столом в пальто и калошах, шею и ноги простудно ломило, фуражка лежала на сальной тарелке, а горло мое было наполнено комком горьких, невыплаканных слез.

## 6.

Через час я уже поднимался по лестнице и как только увидел знакомую и милую дверь, так тотчас почувствовал радостный трепет. Я подошел и тихонько, чтобы особенно не обеспокоить, коротко позвонил. С улицы доносился шум, — с грохотом и сотрясая стекла, прокатил грузовик. Внизу очень резко, по утреннему, зазвонил телефон. Дверь не открывалась. Тогда я решился еще раз нажать звонок и прислушался. В квартире было тихо, ничто не двигалось, будто там теперь никто не живет. — Боже мой, — подумал я, — неужели здесь что-нибудь случилось. Неужели здесь что-то не в порядке. Что же будет тогда со мной. И я нажал пуговицу звонка, нажал с отчаянием и изо всей силы, и жал, и давил, и трезвонил до тех пор, пока в конце корридора не послышались шаркающие шаги. Шаги приближались к двери, подошли к ней вплотную, потом стало слышно, как руки возятся с замком и, наконец, дверь отомкнулась. Я радостно и облегченно вздохнул. Мои опасения оказались напрасны: передо мною в открытой двери, живой и здоровый, стоял сам Хирге. — Ах, это вы, — сказал он с ленивым отвращением, — а я-то уж думал и впрямь человек пришел. Ну, что ж заходите. И я зашел.

На этом кончаются, точнее — обрываются записки Вадима Масленникова, которого в январский мороз 1919-го года, в бредовом состоянии, доставили к нам в госпиталь. Будучи приведен в себя и освидетельствован, Масленников признался, что он кокаинист, что уже много раз пытался с собою бороться, но всегда безуспешно. Путем упорной борьбы ему, правда, удавалось воздерживаться от кокаина в продолжении месяца, двух, иногда даже трех, после чего неизменно наступал рецидив. По его признанию выходило, что тяга его к кокаину теперь тем более болезненна, что за последнее время кокаин вызывает в нем уже не возбуждение, как это было раньше, а только психическое раздражение. Точнее говоря, если первое время кокаин способствовал четкости и остроте сознания, то теперь он причиняет спутанность мыслей при беспокойстве, доходящем до галлюцинации. Таким образом, прибегая к кокаину теперь, он постоянно надеется возбудить в себе те первые ощущения, которые когда-то кокаин ему дал, однако, каждый раз с отчаянием убеждается, что ощущения эти ни при какой дозировке больше не возникают. На вопрос Главврача — почему же он все-таки прибегает к кокаину, если заранее знает, что последний возбудит в нем только психическое мучительство, — Масленников дрожащим голосом сравнил свое душевное состояние с состоянием Гоголя, когда последний пытался писать вторую часть своих мертвых душ. Как Гоголь знал, что радостные силы его ранних писательских дней совершенно исчерпаны, и все-таки каждодневно возвращался к по-

пыткам творчества, каждый раз убеждаясь в том, что оно ему недоступно, и все же (гонимый сознанием, что без него теряется смысл) эти понюшки, несмотря на причиняемое ими мучительство, не только не прекратил, а даже напротив, их учащал, — так и он, Масленников, продолжает прибегать к кокаину, хоть и знает заранее, что ничего, кроме дикого отчаяния, он уже возбудит в нем не может.

При освидетельствовании Масленникова налицо были все симптомы хронического отравления кокаином: расстройство желудочно-кишечного канала, слабость, хроническая бессонница, апатия, истощение, особая желтая окраска кожи и ряд нервных и видимо психических расстройств, наличие которых несомненно имелось, но точное установление которых требовало более длительного наблюдения.

Было очевидно, что оставлять такого больного у нас, в военном госпитале, совершенно бессмысленно. Это сообщение наш Главврач, человек чрезвычайной нежности, ему тут же и высказал, причем, явно страдая от невозможности помочь, еще добавил, что ему Масленникову, необходим не госпиталь, а хорошая психиатрическая санатория, попасть в которую однако, в нынешнее социалистическое время не так то легко. Ибо теперь, при приеме больных, руководствуются не столько болезнью больного, сколько той пользой, которую этот больной принес, или, на худой конец, принесет революции.

Масленников слушал мрачно. Его набухшее веко злое еще прикрывало глаз. На заботливый вопрос Главврача — нет ли у него родственников или близких, которые могли бы ему оказать протекцию, — он отвечал, что нет. Помолчав, он добавил, что матушка его скончалась, что старая нянька его, героически помогавшая ему все это время — теперь сама нуждается в помощи, что один его одноклассник, Штейн, недавно выехал за границу, а местонахождение двух других — Егорова и Буркевица — ему неизвестно.

Когда он произнес последнее имя — все переглянулись. — Товарищ Буркевиц, — переспросил Главврач, — да ведь это же наше непосредственное начальство. Да ведь одного его слова достаточно, чтобы вас спасти!

Масленников долго расспрашивал, видимо боясь, не недоразумение ли все это, не однофамилец ли. Он был очень взволнован и, кажется, радостен, когда убедился, что этот товарищ Буркевиц, тот самый, которого он знает. Главврач указал ему, что учреждение руководимое товарищем Буркевицем, находится на той же улице, что и наш госпиталь, но что придется только подождать до утра, так как сейчас, вечером, он вряд ли кого застанет. На это Масленников, отклонив предложение переночевать в госпитале, — ушел.

На следующее утро, часу в двенадцатом, три курьера того учреждения, где работал товарищ Буркевиц, внесли Масленникова на руках. Спасать его было уже поздно. Нам оставалось только констатировать острое отравление кокаином (несомненно умышленное, — кокаин был видимо разведен в стакане воды и выпит) и смерть от остановки дыхания.

На груди, во внутреннем кармане Масленникова, были найдены: 1) старый коленкорный мешочек, с зашитыми в нем десятью серебряными пяточками, и 2) рукопись, на первой странице которой, крупными и безобразно скачущими буквами нацарапаны два слова: «Буркевиц отказал».



Зилупе



Граница Эстонии и Латвии  
ФОТОРЕПРОДУКЦИ ЮРИСА КРИЕВИНЬША

50 коп.

Индекс 77110

# РОДНИК

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ, ДРАМАТУРГИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА,

